

18+

Александр Кагор

Меловек и эпоха

*Часть вторая.
Кричащая нежность*



Александр Кагор

**Человек и эпоха. Часть
вторая. Кричащая нежность**

«Издательские решения»

Кагор А.

Человек и эпоха. Часть вторая. Кричащая нежность / А. Кагор —
«Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. «Человек и эпоха. Часть вторая. „Кричащая
нежность“» — история о становлении художника в эпоху перемен.
В центре — внутренние поиски героя, его борьба с сомнениями и стремление
найти свой путь в искусстве. Произведение соединяет личную драму
с социальным фоном: в нём отражены культурные и нравственные
противоречия времени, конфликт поколений и противостояние подлинного
творчества и его имитаций. Сюжет показывает путь героя от иллюзий
к прозрению и новому пониманию себя и окружающих.

Содержание

Человек	6
Часть вторая. Кричащая нежность	7
Пролог	7
Художественный институт	7
Вступительный экзамен (Сочинение)	7
Глава первая	9
Глава вторая	20
Глава третья	31
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Человек и эпоха

Часть вторая. Кричащая нежность

Александр Кагор

© Александр Кагор, 2026

ISBN 978-5-0070-6877-2 (т. 2)

ISBN 978-5-0068-6582-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Человек и эпоха

Часть вторая. Кричащая нежность

Пролог

Художественный институт

Вступительный экзамен (Сочинение)

Тема №3 «Призвание»¹

Шёл 1992 год, начавшийся резким ростом цен и стремительным падением уровня жизни населения; 21 апреля на съезде депутатов РФ было принято решение о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию, что вызвало общественную панику на почве поиска национального самосознания, дотолпе десятилетия коренящегося в социалистической идеологии. После президентского указа «О введении в действие системы приватизационных чеков в РФ» началась массовая *ваучеризация* экономически безграмотного населения, взрастившая олигархическую прослойку, забравшую исторически принадлежащее народу имущество, в результате чего страна стала делиться на бедных, оказавшихся на социальном дне из-за безработицы, и богатых, наживших состояние на финансовом невежестве сограждан, — все эти факторы привели к культурному кризису, духовно-нравственной деградации и моральному вырождению... Так вышло, что именно этот год, запомнившийся столь печальными событиями, определил мою дальнейшую судьбу, выведя призвание из уже почти забытого мной разговора с дядей Мишей, маминым двоюродным братом. Преследуя цель простоты изложения, я продолжу дальнейшее повествование в художественном стиле.

Мы жили втроём в тесной двухкомнатной квартире, построенной во времена Хрущёва; мама работала психологом в школе по месту жительства; дядя, потерявший работу из-за приватизации завода, был вынужден податься в сапожники; а я, перешедший в пятый класс, занимался рисованием, воспринимая это как своего рода ни к чему не обязывающее увлечение.

Наступил сентябрь-месяц... Листва, привыкшая к летнему солнцу, неохотно поддавалась порывам холодного ветра, уносящего её в наполненные грязью лужи. Дядя Миша сидел на кухне, занятый починкой сапог. Это был среднего возраста мужчина, обрюзгший и поседевший вследствие жизненных потрясений; лишившись рабочего места на заводе, он старался как можно меньше взаимодействовать с внешним миром, замкнувшись в четырёх стенах. Самокрутка, зажатая у него между зубами, источала едкий запах, щиплющий глаза. В тот день я, как и всегда, стоял у окна в спальне, с завистью смотря на детей, идущих в окружении родителей; мне хотелось отдать всё на свете, чтобы хоть на минуту оказаться на их месте... Когда это занятие мне наскучило, я решил навеститься к дяде.

— Дядя Миша, — пролепетал я, открыв кухонную дверь, — а когда мы пойдём кататься на коньках?

— Погодь немножко, денег раздобудем и пойдём веселиться... А пока иди, рисуй, — проговорил хриплым голосом дядя Миша, не отвлекаясь от работы.

— Я уже рисовал сегодня.

¹ Шаблон, написанный размашистым подчерком экзаменатора, перенесён на лист с огромной зелёной доски, находящейся в приёмной аудитории для абитуриентов и располагающейся по центру стены. (Прим. А.К.)

— И что теперь? — удивился дядя Миша. — Я сегодня уже семь пар сапог починил, и ничего, работаю дальше, чтобы вас с матерью прокормить.

— Я не знаю, что мне рисовать, — произнёс виновато я, опустив глаза в пол, — я уже все фотокарточки мамины перерисовал.

— Э, это, брат, труд небольшой. Ты попробуй своё что-то нарисовать, а не срисовывать, — с беззлобным укором заметил он. — Ты же хочешь художником стать?

— Да! — уверенно и даже как-то дерзко ответил я.

— Так, вот... — продолжил дядя Миша, устремив на меня свои серые глаза с лопнувшими от дыма сосудами; ранее они светились, а сейчас померкли, как и надежды на светлое будущее. — Тебе уже сейчас пора начинать готовиться. Ты думаешь, так легко в институт поступить? — произнёс он, ослабившись. — Там живопись знать надо, ваять уметь, с натуры рисовать... А это, думается, не из лёгких. Я помню, тоже в детстве кисточками баловался, но, как видишь, художника из меня не вышло... Поэтому тебе есть в чём натереть!

— А как с натуры рисовать? — задался я, внимательно наблюдая за тем, как дядя чинит сапоги.

— Ну, так... — задумчиво протянул дядя Миша. — Заведи себе блокнот с карандашом и ходи по улице, зарисовывай прохожих.

— А они не обидятся? — испугался я.

— Если ты с умом делать будешь, не обидятся, — успокоил меня он. — Зарисовывай их как-то исподтишка, чтобы не увидели. А ваять... куплю тебе глину. Ты, главное, работай, трудись... И всё получится. Понимаешь... надо что-то своё рисовать, — развивал он мысль, прищутив правый глаз, — у меня друг был, художник, рисовал много, но его всё как-то не замечали. И тогда, доведённый до ручки, он возьми и картину такую нарисуй: стоит, значит, мальчик, высоко подняв голову на небо, по которому летит самолёт; и такой, знаешь, ужас у него в глазах, и так он боится, что этот самолёт на него упадёт, и так он опасливо прижимает к себе игрушечный грузовичок, что, ненароком, и ты страшишься... Вот это картина была, это искусство; никто, кроме него, такого не рисовал. А, тоже, — вспомнил неожиданно дядя, — у него после картина была: сидит старушка в автобусе и плачет, смотря на молодёжь, проходящую за окном; и я вот вспомнил, что видел когда-то в юности такую старушку и думал: «Что же она плачет? Что же она дни последние свои на слёзы пускает?», — а потом понял, ведь жизнь, Коля, быстро проходит, очень быстро...

— Я вот хочу что-то своё нарисовать, а у меня не получается...

— Значит, не время ещё... Тебе только десять лет — ищи себя, пробуй, единственное — не стой на месте! Когда ты подрастёшь, я тебе книжицу одну дам потрёпанную, но, вроде как, она толковая... Автор у неё — немец, Мутер, по-моему... У отца моего, дядьки твоей матери, она была... глядишь, и есть ещё. А я, видишь, на инженера отучился, а теперь сапожником стал, завод наш приватизировали и корейцев понабрали, потому что платить им надо меньше. А друг мой, тот, что художником был, спился... Вот так, брат, вот так, — грустно заключил дядя Миша, выплюнув остатки докуренной самокрутки.

Я стоял в оцепенении, пытаюсь понять, что хотел до меня донести дядя; а тот, взяв очередные сапоги, неистово начал стучать молотком по подошве одного из них, что-то бормоча себе под нос. С этого дня я обзавёлся блокнотом и карандашом, стараясь тайком зарисовывать в него характерные типы людских черт; наловчившись в конспирации, я выполнял свою работу мастерски. Спустя пять лет, присутствуя на похоронах дяди Миши, умершего от сердечной недостаточности, я вспомнил тот разговор и посетовал, что так мало говорил с ним, а ведь он, один из самых прозорливых людей своей эпохи, пускай и не умеющий формулировать мысли складно, мог научить меня многому... Таким образом, призвание нашло меня само; я надеюсь, что, поступив в художественный институт, я смогу усовершенствовать навык, создав в будущем шедевр мирового искусства!

Глава первая

Прошёл год...

Наступил октябрь, окрасивший листья деревьев в пёстрые, слегка кричащие цвета; перелётные птицы с неохотой покидали свои гнёзда, а озябшие люди с болью в сердце укутывались в тёплые пуховики и куртки...

Николай сидел на лоджии, занятый написанием картины. На стареньком деревянном мольберте, ножками упирающемся в доски, которыми был устлан пол, лежал подрамник, обтянутый белым холстом; на нём виднелись толстоствольные деревья, в беспомощности раскинувшиеся до сострадания обнажённые ветви, газобетонные пятиэтажные дома, в окнах которых горел тусклый свет, люди, представлявшие собой небрежные чёрные линии, скорее опечаливающие, чем украшающие и без того увядающий пейзаж...

Окуная кончик кисточки в углубления палитры, заполненные краской, Николай чувствовал, как по лоджии распространялся, подгоняемый ветром, запах льна с нотками мака. Юноша, рисуя, наслаждался *продолговатостью* художественного процесса, попыхивая сигаретой...

Он зарисовывал земляной съезд, покрывшийся ледяной кромкой; желая сделать его более светлым на холсте, Николай без зазрения совести расточал имеющиеся у него запасы краски этого цвета.

Внезапно на горизонте появилась девушка в норковой шубе, которая, осторожно ступая своими замшевыми зимними сапожками на высоком каблуке, пыталась спуститься вниз. Николай, решив, что появление девушки может пагубно отразиться на его видении пейзажа, обратил внимание на стоявшего на открытом балконе обрюзгшего мужчину в длинной полосатой майке и чёрных шортах, поднимающего шестифунтовые гири с видом профессионального спортсмена. Это вызвало усмешку на лице юноши, и он уже было хотел начать зарисовывать замеченное, но остановился, подумав, что эта лишняя деталь испортит пейзаж; тогда он встал и удалился на кухню, чтобы перекусить.

Придя туда, Николай, вскипятив чайник, заварил себе чай, достал из холодильника лежащий на блюдечке остаток вчерашнего заварного пирожного и стал полдничать, улыбаясь белому солнцу.

«Вот бы завтра меня при всех похвалили! — мечтал с юношеской наивностью он. — Вот бы поставили меня в пример! А что, я зря, что ли уже битый час сижу на этой лоджии, когда у меня дел и без этого пейзажа неуворот! Главное, чтобы завтра пришла Инна, иначе весь труд насмарку... Она бы в очередной раз убедилась, что я — гений, и полюбила меня!»

Инна была ровесницей Николая, розовощёкой девушкой с огромными чёрными глазами и пухлыми губками; воспитанная бабушкой, она воплощала в себе пуританский и квакерский идеалы... Нарисовав её портрет на первом курсе, Николай, ещё плохо владевший кистью, подарил его девушке, выставившей художника на посмешище, так как на полотне она была изображена карикатурно, словно поражённая базедовой болезнью.

И как бы Николай ни старался, и какие бы шедевры он впоследствии ни создавал, прозвище «рипарограф», даваемое посредственным художникам, прочно закрепилось за ним. Уже ничего не испытывая к Инне, Николай считал своим долгом влюбить её в себя, чтобы жестоко обойтись с её чувствами, — подобная месть характерна не столько для юноши, витающего в облаках, сколько для художника, привыкшего мыслить размашистыми мазками и видевшего сатисфакцию в романтизированном и претенциозном свете.

Вернувшись на лоджию, Николай застал девушку за тем же занятием, — она, как и прежде, семимильными шагами даже не спускалась, а кралась вниз, словно наблюдая перед собой бездну. С каждым шагом её лицо рдело, а руки инстинктивно выбрасывались вперёд.

Наблюдая за этой скучной сценой, которая, на взгляд Николая, была лишена всякой грациозности, он неожиданно увидел, как девушка, неудачно ступив, упала навзничь, застыв в изломанной позе.

Перепугавшись, молодой человек, с пылкостью, достойной художника, надел рабочий фартук, выбежал в коридор, засунув ноги в сапоги, кое-как закрыл дверь, рысцой спустившись по лестнице, и выбежал на улицу, бросившись к не подававшей признаков жизни девушке.

Приблизившись, Николай обомлел: перед ним, раскинув в стороны лебяжьи руки, лежала незнакомка, красота которой могла сравниться с Дианой де Путье и Маргаритой Лути. Придя в себя, Николай встал на колени, легонько ударив девушку по щеке, — она встрепенулась, поведя головой из стороны в сторону, и, открыв плотно сомкнутые глаза, поднялась, держа руку за ушибленный затылок.

— Как вас зовут? — спросил потрясённый Николай, испытывая одновременно и смущение перед красотой девушки, и тревогу за её самочувствие.

— Анна... — промолвила смутно она, пытаясь подняться. — У меня ужасно кружится голова. Я помню, что спускалась, а потом...

— А потом вы поскользнулись и потеряли сознание, — дошёл её мысль до логического завершения Николай, схватив незнакомку под руки. — Давайте я посажу вас на скамейку около подъезда, а сам пока вернусь в квартиру, оденусь потеплее и провожу вас до дома... Впрочем, если вы не возражаете, можете переждать у меня в квартире... я бы вам заварил чёрный чай с лимоном, — в вашем случае он крайне необходим!

— Нет! — резко заявила Анна, выпрастываясь из рук Николая. — Я сама дойду до остановки, дождусь автобуса, сяду в него и благополучно доеду до дома.

— Зачем же? Кому нужно это упрямство? В другое время — пожалуйста, но сейчас, когда сознание ваше помутнено, я не могу оставить вас одну. Поймите... — несколько умоляюще проговорил он. — Я переоденусь... Это займёт буквально пару минут... Во всяком случае, я постараюсь мигом...

Анна, строго посмотрев на Николая, сделала одолжение:

— Хорошо. Просто я зачиталась и вышла не на той остановке...

— А! — воскликнул он, не найдя около неё пакета или сумки, в которой могла бы находиться книга или учебник. — Так вам не на остановку идти надо... А куда же вы путь держите?

— На остановку.

— Погодите, а почему же вы не стали ждать транспорта на той остановке, на которой вышли, и двинулись к другой? Ведь от вашей ошибки маршрут автобуса измениться не мог! — скаламбурил он.

— Я повторяю: я случайно там вышла и сейчас мне нужно дойти до другой остановки, — вкрадчиво объяснила она, вспыхнув от злости.

— Ладно, хорошо, — согласился Николай, не собираясь вникать в детали. — Тогда я сейчас... скоро вернусь, — сказал он, бережно усаживая Анну на скамейку.

Оказавшись в квартире, Николай натянул коричневые слаксы с завёрнутыми нижними краями брючин, одел мешковатое пальто в стиле гранж, из-под которого виднелся длинный винтажный шерстяной свитер, и шапку-формовку.

Выйдя на улицу, юноша не нашёл Анну сидящей на скамье, — лишь вдалеке он усмотрел её силуэт, осторожно продвигающийся к остановке.

— Зачем вы ушли? — спросил Николай, запыхавшись, когда догнал её.

— Я думала, что вы меня обманули... подшутили так... — обидчиво промолвила она, фыркнув своим милым носиком.

— Вы что! — воскликнул Николай в негодовании, посчитав, что задета его художественная честь. — Как вы могли такое подумать! Если я уж вызвался помогать, то довожу данное до

конца. Не в моих правилах обманывать и насмехаться над людьми... тем более... тем более... — менжевался он, — над такими красивыми...

— Спасибо, — с нотками нежности пробурчала она.

Когда они подошли к остановке, устремив взгляд на дорогу в ожидании автобуса, Анна ни с того ни с сего прижалась к груди Николая, обняв его. Юноша, чувствуя озноб и мандраж, пытался справиться с зубовым скрежетом и учащённым сердцебиением; он хотел и боялся обнять Анну в ответ, ведь никогда дотоле девушка так не проникалась по отношению к нему, тем более, такая красивая и кажущаяся ему недоступной, — он молча стоял, опустив руки, и представлял, как комично всё это выглядит со стороны.

Николай задышался от переполнявших его эмоций и не знал, как поступать дальше; у него возникла смелая мысль поцеловать Анну в лоб, но он тут же откrestился от неё, решив, что поступит бессовестно и неинтеллигентно. Впрочем, если бы они находились не на оживлённой остановке, а в пустой квартире, наполненной безмятежностью, то Николай, набравшись смелости, претворил бы свою идею, но сейчас под пристальным, как он считал, взором прохожих, юноша не мог себе позволить такой роскоши.

Он чувствовал, как горячее дыхание девушки вздымает ему развившуюся грудь; Николай знал, что в данный момент Анна в неописуемом блаженстве зажмурила глаза и слушает биение его сердца... у него кружилась голова, юноша готов был взмолиться, слёзно попросив девушку разжать сцепленные намертво на его спине пальцы, но он не хотел идти на поводу у страха, он желал дать волю подавляемому соблазну и не мог, по всё той же причине многолюдности...

— Вам нехорошо? — спросила Анна, выпустив Николая из объятий.

«Может быть, я высказал мысли вслух!» — испугался он, и по его спине прошёл холод, но, заметив радостное лицо Анны, юноша уяснил себе, что это всего-навсего совпадение.

— Нет, ничего страшного... уже лучше... Наверное, я слишком легко оделся и поэтому так озяб, — оправдывался он.

— Хотите, я отдам вам свои варежки? — искренне поинтересовалась Анна и уже сунула руки в карманы, чтобы достать...

Но Николай признательным взглядом остановил её, настояв:

— Нет, нет... не стоит... Давайте... может быть... если вы не возражаете... — мямлил юноша, тем самым пытаясь умерить обуревавший его любовный пыл. — Может быть, перейдём на «ты»? — наконец-таки выдавил он.

Анна, внутренне посмеиваясь над его неловкостью, добродушно съязвила:

— Разве мы достаточно знакомы, чтобы идти на такой шаг?

— На какой? — без задней мысли задался Николай.

— Ну, как... Вероятно, вы, переходя на ты, хотите... хотите сделать мне предложение? — огорошила она его.

Николай, и так желавший провалиться сквозь землю, теперь мертвенно попунцовел; ему казалось, что у него заложило уши.

— Я... я не думал... простите... просто... я думал... — пустился в объяснения он.

— Да шучу я! Расслабься! — задорно воскликнула она, легонько ударив его своей нежной ручкой по плечу.

— Фух... — выдохнул он, как будто бы после исповеди.

— Как тебя зовут?

— Николай.

— А меня...

— А ты уже представилась! — заметил он.

— Да?.. я совершенно ничего не помню...

— По-хорошему тебя бы в больницу отвезти!

— Нет, нет! — категорично заявила она. — С врачами я точно связываться не собираюсь. Ты знаешь, какие сейчас врачи?

— Какие?

— Взятчники и коновалы! Так, ладно бы деньгами брали, а то фрукты и мясо им подавай!

— Да? — поразился он. — Видать, я давно не болел и не знаю...

— А я знаю! — заключила девушка.

К остановке подъехал автобус.

— Это мой! — восторженно вскрикнула Анна.

— Ну, пойдём... — неуверенно предложил Николай.

— Спасибо, конечно, но я сама.

— Нет, я не могу так! — возразил он. — Я дал тебе слово, что провожу тебя до дома.

— Ну... — таинственно протянула она. — Пошли!

Поцеловав Николая в щёку, Анна запрыгнула в автобус.

Будто бы находясь в трансе, Николай последовал за ней, забыв о необходимости докончить пейзаж, который завтра должен был быть представлен на обозрение однокурсникам и строгому преподавателю.

Стоя рядом с девушкой, юноша не вспоминал ни о художественном призвании, так сильно тревожившем его ранее, ни о необходимости обзавестись новыми тюбиками с краской, — он не мог дать объяснение собственному состоянию, это была какая-то чувственная вспышка, мираж, — фантазмагория, затуманившая трезвый взгляд на мир...

— Извини, что доставила тебе столько неудобств. Наверняка, у тебя были другие планы на сегодняшний день, — пленительно кокетничала Анна, потупив глазки; одной рукой она держалась за поручень, а другой за рукав пальто юноши.

— Нет, что ты, что ты! — запротестовал Николай, пребывая в экстазе. — Это сущие пустяки! Особых дел у меня на сегодня запланировано и не было. Я давно уже хотел выйти на улицу, прогуляться, повеселиться, а вот вы... — запутался он, вызвав у девушки смех — то есть, ты... помогла мне в этом. Я тебя должен ещё и благодарить!

— Ты очень галантный кавалер! — отметила она.

— Спасибо! — в этот момент по его усталому лицу растеклась признательная улыбка.

Выйдя из автобуса, Анна встала на остановке, скрестив руки на груди, и обратилась к Николаю, разглядывавшему окружающие дома:

— Вот и всё, спасибо, что проводил...

— Как, уже? — осведомился он.

— Да...

— Так я же не проводил тебя до дома!

— Вот мой дом, — сказала она, показав рукой на многоэтажку, расположенную прямо за остановкой.

— Так давай я хоть тебя до подъезда доведу...

— Ладно, так уж и быть... — сообразовала Анна. — Только не до подъезда, а до двора, — уточнила она.

— А почему ты не хочешь, чтобы... до подъезда?

— Мало ли... — конспиративным тоном заявила девушка. — Вдруг кто-то увидит.

— И что с того, что увидит?

— Разве ты не боишься слухов? — спросила Анна.

— Нет.

— Повезло... Наверное, тебя миновало трудное детство.

— А сколько тебе лет? — спросил Николай, не считая свой вопрос некорректным.

— Девятнадцать.

— О, ровесники!

— Ладно, — сказала она, когда они вошли во двор. — Мне уже пора... Большое спасибо, что проводил. Была рада знакомству!

— Я тоже... — с тоскою в голосе поддакнул Николай.

— Ну, чего ты опечалился, мы же ещё увидимся! — подбадривала его девушка.

Николаю стало не по себе от того, что Анна заметила его огорчение, он хотел выглядеть перед ней более мужественным, но каждый раз темперамент играл с ним злую шутку...

— А можно тогда записать номер твоего телефона? — поинтересовался юноша.

— Давай... давай лучше ты свой запишешь... — взволнованно попросила она, косясь на дом. — Потому что... вдруг ты позвонишь, а меня не будет на месте... Или... кто-то из родственников возьмёт. Короче говоря, — уверенно заявила она. — Напиши свой!

— Конечно, конечно! — радостно воскликнул он.

Достав из кармана блокнот и ручку, Николай, трясущимися руками начеркав номер, был вынужден переписать его снова, так как ошибся с цифрами. Только с третьего раза ему удалось сделать всё правильно.

— Держи, — нежно произнёс он, подавая листок девушке.

— Спасибо, — ответила она, подставляя листок к свету, чтобы прочитать номер. — Нет, — определённо констатировала она. — Я никогда в жизни не разберусь в твоих каракулях! Дай мне блокнот и ручку, — я сама запишу.

Николай продиктовал ей номер, а Анна его зафиксировала.

— Вот теперь красота! — проговорила она, сжав бумажку в руке. — А ты всегда носишь с собой блокнот?

— Да.

— И с каких времён такое повелось?

— Я художник.

— Художник? — переспросила она, и глаза её загорелись.

— Да... — смущённо ответил он.

— А ты мой портрет нарисуешь?

— Постараюсь... если увидимся...

— Конечно, увидимся! Теперь обязательно увидимся, — воскликнула она, поцеловав Николая в обрешенные губы.

Вкусив её страстный поцелуй, Николай зажмурил от удовольствия глаза и не разглядел, в какой именно подъезд она зашла. С минуту он ещё стоял, наслаждаясь сладким вкусом, осевшим на его губах, а потом повернулся назад и оцепенел, — он не помнил, куда идти... Стоит оговориться, что его состояние было не первым признаком страшной болезни, а сильным внутренним волнением, отбившим память.

Юношу окружали многоэтажные дома, напирющие несметным количеством окон, на каждом втором подоконнике которых сидели птицы. Тут он увидел, как из переулка вышла компания из трёх человек — это были подростки, которые, судя по всему, состояли в одном из неформальных молодёжных объединений.

У всех них были бритые волосы по краям головы, и только в центре взъерошенной копне была придана форма гребешка; один из них, идущий посередине, был одет в чёрную кожаную куртку с заклёпками и шипами, усеянными по всей площади материи, его окрашенные отбеливателем джинсы, местами рваные, венчались криперсами с развязанными шнурками; второй, находящийся справа, был одет в аналогичного цвета и пошива куртку, тартановые килты — юбки, украшенные клетчатым узором, какие носят мужчины в Шотландии, — а также мото-

циклетные сапоги; третий, шествующий слева, был в кожаном жилете, надетом поверх куртки, его грязные джинсы и полукеды наводили панический страх.

Юноши были похожи друг на друга; так можно было выделить характерные для всех карие глаза, кишащие злобой, заострённые скулы, придающие их виду одиозность и эксцентричность, и вставленные в носы разного размера кольца, называемые пирсингом.

Николай непроизвольно попятился назад, то ли отступая перед вызывающим образом молодых людей, то ли боясь непредсказуемости их поведения.

«Куда бежать?..» — напряжённо говорил себе он, сжимая руки в кулаки.

Ему казалось, что подростки надвигаются прямо на него, а их лица светятся безумством, неистовством и гневом. Когда стало очевидно, что драка неизбежна, юноша насторожился, сведя брови, и приготовился давать сдачи.

Вот он видел, как они приближаются... оставалось всего несколько шагов... сердце Николая сжалось, правую ногу свело судорогой, а левая замерла, словно костыль, и... компания его миновала, направившись во двор.

Юноша выдохнул, пойдя в сторону переулка, из которого вышли подростки. Руки его тряслись, будто достигнув высшей степени прострации, называемой швейцарским психиатром Юнгом *Самостью*, — Николай забыл обо всём и не имел сил вспоминать; ему было хорошо от осознания того, что он куда-то идёт, выходя на оживлённый перекрёсток.

В конце концов, к своему удивлению, он добрался до остановки, на которой вышел с Анной. Полное облегчение охватило его: юноша сел на скамейку, начав сонно смотреть на выходящих из транспорта людей. Вдруг он, краем глаза посмотрев на ручные часы, заметил, что большая стрелка медленно, но уверенно подвигается к восьми.

«Ой...» — подумал он, не зная, как объяснить своё отсутствие деспотичной матери. Николай уже представил, как она нехотя открывает ему дверь после того, как он десять минут звонил в звонок; как она безрадостно встречает его, не здороваясь; как избегает его, пребывая на кухне...

«Если бы меня приютила Анна, я бы остался у неё... — тешил он себя смелыми мыслями. — Зачем мне этот дом? Это же сплошные мучения... Нет... нет... С меня хватит! Если мать станет меня ругать, если она попытается выставить меня за дверь, если она будет в свойственной себе манере распинать меня, как первоклассника, я уйду и больше не вернусь... Я стану передвижником! Я захвачу с собой краски, кисти и холсты. Я буду пешком ходить из города в город в поисках работы. И пусть у меня будет неоконченное высшее образование, и пусть я буду скитальцем и бродягой, всё это лучше, чем терпеть унижения... Я ли виноват, что я такой? Мой отец был учёным, рано скончавшимся... Если бы он был жив, он бы понял меня. Ведь науку и искусство объединяет идея, только в случае с наукой она рациональная, а в случае с искусством — трансцендентная!» — рассуждал он, ища остановку, которая, по его подсчётам, должна была располагаться на противоположной стороне дороги.

Перебежав трассу в неположенном месте, Николай пошёл по обочине. Слева от него мчались, сигнали друг другу, машины, а справа находилась Москва-река, покрывшаяся тонкой плёнкой льда; подойдя ближе, можно было рассмотреть застывшие под водой густо-зелёные водоросли, плавающих, словно под стеклом, рыб и одиноко торчащую корягу, нагие ветви которой покрылись инеем...

Удаляясь, Николай заметил, что за ним следует какой-то человек в фуфайке, беспардонно курящий сигарету и что-то отхаркивающий... Сквозь мглу юноша видел, что это был прижимистый мужчина, пружинистой походкой шедший восвояси.

«Наверное, грабитель... У меня ничего и нет с собой... — пронеслось у Николая в голове. — Сейчас стало безлюдно... Он подойдёт, попросит денег, я ему, естественно, ничего не дам, тогда он огреет меня кирпичом по затылку, оттащит к реке и выкинет в прорубь... Да... меня даже похоронить не смогут, — рыбы всё тело обглодают... А картины?.. Что будет с моими

картинами? Ведь в шкафах пылятся сотни эскизов. Воспользуется ли кто-то ими? А ведь это чудные, прямо-таки, эскизы. Мне больше всего нравится вчерашний... Это портрет робкой девушки, провожающей своего жениха на перроне. Как повезло, что я вчера, отправившись на вокзал за „Киевским тортом“, застал их! Какие у неё были умоляющие, вопрошающие медяные глаза с расширенными зрачками, они пронзали своим испепеляющим и одновременно отсутствующим взглядом молодого человека, вынужденного покинуть свою возлюбленную, такую недоступную и целомудренную... А люди кругом, таща баулы, пихали их, заставляя отходить в сторону, а они, не выпуская друг друга из объятий, повиновались требованиям толпы, не отрывая глаз друг от друга... Кстати, — умилённо выдыхая, подумал он. — У неё был филигранный губной желобок, который вышел у меня как-то смазано; надо, может, сделать его более жирным... Эх... Только бы добраться до мольберта и всё подправить... Впрочем, выполнив эту работу в красках, можно её послать на какой-нибудь конкурс. Да, да, на „Золотую палитру“... — вдохновенно размышлял Николай, представляя, как вышедший на сцену ведущий объявляет: „Итак, достопочтенные ценители искусства, пришло время подводить итоги нашего конкурса“ — конференсье предвкушающе кашляет, доставая из-за пазухи белый конверт с позолоченными краями, и, открыв его, недоумённо оглашает: „Николай...“ Раздаются аплодисменты, не дающие ведущему договорить. Юноша, сопровождаемый соратниками, выходит на сцену: он одет в свежевыглаженный смокинг и сверкающие квадратные туфли, — его подводят к микрофону и дают сказать слово. Естественно, Николай, не ожидавший подобного триумфа, не полагавший, что его, обычного художника, выберут победителем, не подготовил победную речь; но он не намерен сдаваться, воодушевлённый сотнями глаз, устремлённых на него, он произносит диатрибу, убеждающую всех присутствующих, что он — гений, которого век не видавали и не надеялись увидеть!..»

Предавшись раздумью, юноша не заметил, как мужчина пропал из виду, а к остановке подъехал нужный Николаю автобус. Сев в него, он успешно доехал до дома...

Подойдя к входной двери, молодой человек встал в замешательстве.

«Надо было позвонить кому-нибудь из друзей... Я бы переночевал... А так... Страшно, страшно... Откуда у меня эта страсть к живописи? Мать моя далека от искусства, отец, по словам матери, большим ценителем тоже не был... Так откуда? Может быть, правы буддисты, верящие в перерождение душ?.. Может быть, в прошлой жизни я был кровожадным, свирепым, мелочным изувером и садистом, а теперь должен расплачиваться за бесчеловечную жестокость художественной одарённости?»

Николай, как бы жутко ему ни было, аккуратно прислонил подушечку указательного пальца к звонку, и, услышав раздражающий звук, тотчас отстранился, думая дать дёру, пока не поздно.

Мать открыла дверь... По её истощённому лицу пробежала гневная судорога, завершившаяся недужным блеском в осоловелых глазах. Это была дебелая женщина, пять лет назад стан которой можно было назвать пышным; её мужиковатые руки, имевшие такую склонность ещё в молодости, окончательно утратили в себе женственность из-за жизненных невзгод. Не удостоив сына, как и предполагал Николай, приветствием, она удалилась на кухню, плотно закрыв за собой дверь.

Раздеваясь, Николай взглянул на себя в зеркало. Брови, бывшие густыми в отрочестве, поредели и осветлились, то ли от возраста, то ли от нервных потрясений; покатым лобом испещрили мелкие морщины, появившиеся вследствие умственных изысканий, ведь работа художника заключается не столько в технике, сколько в представлении и фантазировании, за что отвечает мозг; веснушки, украшавшие нос, пропали; а круглых ушей из-за длинных волос, окаймлявших ворот свитера, не было видно.

Юноша тяжело вздохнул, поняв, что проведёт вечер наедине с собой. Пройдя в зал, он сел на пол около книжного стеллажа, по его просьбе появившегося в квартире. Полки этого стел-

лажа были уставлены исключительно отборной французской литературой: Оноре де Бальзаком с его *архипастора* «Человеческая комедия», отразившей всевозможные общественные нравы и давшей имя создателю, как мастеру художественных описаний, и пускай некоторым эстетам они кажутся мраморными и восковыми, в этом нет вины автора, потому что любая черта становится оживлённой только в глазах читателя, наделённого воображением; Жорж Санд с её романами, каждое слово которых проникнуто утончённой чувственностью и раскованностью; Гюставом Флобером, не поучающим, а научающим, не ломающим, а рубящим, не заставляющим, а советуящим; Франсуа Рабле, талант которого меркнет перед Мигелем де Сервантесом; Эмилем Золя, гигантом натурализма, не боявшимся быть смелым и до неприличия правдивым; Виктором Гюго, исторические справки которого мешают раскрыться недюжинному таланту; Проспером Мериме и Ги де Мопассаном, выдающимися новеллистами, подорвавшими лицемерные устои, первый из которых сильно отстаёт от второго в мастерстве изобразительного изложения; Жюлем Верном, неутомимым приключенцем и сказочником; и Александром Дюма-сыном, собрание сочинений которого покоилось в углу, из-за презрения к тому, что часть его произведений была написана литературными неграми², имена которых были безжалостно вычеркнуты из истории... Ещё там стояли тома Марселя Пруста, Жан-Поля Сартра, Альбера Камю, Андре Моруа, Андре Жида, Анатоля Франса и других не менее выдающихся писателей, фамилии и псевдонимы коих можно перечислять вечно; но мы не будем испытывать терпение читателя, и так, думается, сердящегося на нас за столь подробный перечень, проминуть который мы не могли из-за почтения к столь выдающимся и преданным забвению авторам, продолжающим оказывать влияние на нашу действительность.

Николай рьяно вступал в борьбу за французскую литературу, когда её пытались ошельмовать и охаивать. Он считал, что она полна подлинной трагедии, комедии, разочарования, любви, человечности — в конце концов, того, чего не достаёт русской литературе с её социально-политическим контекстом, эфемерными страданиями и самобичеванием, пространными рассуждениями о вере и положении крестьян, потомки которых столетие спустя узнали, что про их предков писали таким сентиментальным и душераздирающим языком.

Николай не скрывал, что рассуждал о французской литературе сродни Ван Гог и, подобно ему же, считал чтение обязанностью профессионального художника; читая, он был похож на «Пустынника» Филиппа Конинка: откинувшись на спинку стула, юноша, устремив пытливый взгляд на страницу, губами проговаривал каждую букву, создавая произвольный шёпот, раздражавший мать, которая полагала своим долгом делать ему в эти моменты велеречивые замечания.

Непонятый сверстниками, Николай, когда спрашивали его мнение о современной литературе, цитировал гениального скульптора Огюста Родена: «В новом художественном поколении, к несчастью, существуют поэты, отказывающиеся учиться говорить. Поэтому они издают лишь бормотание».

Вот и сейчас, пребывая в своих мыслях, юноша на мгновение отстранился, опустошённо посмотрев на стеллаж. Встав, он взял пятый том Гюго, содержащий вторую часть «Отверженных», и погрузился в чтение, вернувшись на место. Только он прочитал:

В 1815 году Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириэль был епископом города Диня. Это был старик лет семидесяти пяти; епископскую кафедру в Дине он занимал с 1806 года.

Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того...

, — как в комнате внезапно очутилась мать, зловеще спросившая:

² Автор, чтобы не быть уличённым в политической некорректности, подчёркивает: он употребляет данное слово в нейтральном смысле — как устоявшееся выражение — и не стремится никого оскорбить по каким бы то ни было признакам, поскольку является толерантным человеком. (Прим. А.К.)

— Ты ничего мне не хочешь объяснить?

Не отрывая глаз от страницы, Николай ответил:

— Я отлучился на пару часов. Мне надо было проверить кое-какое дело.

— Что за дело? — взволнованно поинтересовалась мать, опустившись на диван.

— Так, ерунда, — проговорил юноша, махнув рукой.

Мать, которую, как вы могли заключить, звали Валентина, осведомилась:

— Что у тебя за характер стал с возрастом? Раньше был таким ангелочком, таким святошей, а сейчас — сплошное дерзновение! Я же переживаю... Конечно, ты не поверишь, но до твоего рождения я была совсем другой, — ох, вернуть бы эти счастливые времена... — с сожалением констатировала она.

— Когда меня не было? — иронично, как ему казалось, заметил Николай.

— Нет, когда я была спокойной и сдержанной. — пояснила Валентина. — А сейчас... что ты со мной сделал! Неудивительно, что я так и не смогла выйти замуж. Всё из-за тебя — гадкий мальчишка!

— Ты рано себя списываешь! — усмехнулся юноша.

— Да как ты со мной разговариваешь, мерзавец! — воскликнула она, напрягши височные вены. — Без мужского воспитания ты совсем от рук отбился. Когда был жив дядя, с тобой хоть как-то можно было справиться... А теперь я одна, помощи нет, и ты мне не друг, а вредитель. Прихожу домой — лоджия залита краской. Сколько раз я говори...

Но не успела она закончить, как Николай, бросив книгу, вылетел на лоджию, чтобы посмотреть, что стало с картиной. Холст стоял на мольберте, обдуваемый ласковым ветром; пейзаж, намеченный Николаем утром, был в целостности и сохранности, только местами жирные мазки отошли от поверхности, а посередине, в месте, где изображался съезд, появилась странная точка, поразительно похожая на лежавшую на снегу Анну... Выдохнув, юноша, сбросив со лба крупные капли пота, вернулся к матери.

— Конечно! — причитала красочно она. — Ты не к матери родной побежал, а к своим краскам. Ведь я же люблю тебя, оттого и беспокоюсь, пекусь о тебе. А тебе хоть бы хны — ни сочувствия, ни внимания, — всё воспринимаешь как должное. А меня не станет, что делать будешь? Сопьёшься, как этот... Петров-Водкин твой?

— Нет, мама, он скончался от туберкулёза, — холодно поправил её Николай. — А двойная фамилия у него из-за деда, — сапожника, бывшего отменным пьяницей.

— Конечно, матери грубить ты горазд, нет бы, учтиво промолчать! — обидчиво проговорила Валентина, пристально посмотрев на сына. — Я дни напролёт работаю с детьми, обращающимися ко мне по всяким пустякам, а ты даже поинтересоваться не хочешь, чем я живу!

— Рассказывай! — равнодушно сказал Николай, взяв с пола книгу, и сел в кресло.

— Сегодня произошла страшная, неслыханная история... Четвероклассник ударил свою одноклассницу по лицу так, что она стукнулась об стену и сломала нос. Конечно, все стали обвинять меня в халатности. А причём тут я, Николай, скажи мне, причём?

— Ни при чём, совсем ни при чём... — машинально отвечал он ей, читая:

Но вот произошла революция; события стремительно сменялись одно другим; семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мириэль в первые же дни революции эмигрировал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала.

— Вот, ты понимаешь! — продолжала мать, простодушно думая, что нашла поддержку в лице сына. — А они мне строгий выговор хотят выписать. За что? За то, что я не могу наверняка знать, какая зловещая мысль таится в головах этих исчадий ада! Разве это справедливо? Разве правильно обвинять во всём одного человека, не могущего защититься? А знаешь,

почему этот мальчик так поступил? «Потому что в одном фильме один дяденька так ударил одну тётеньку и его за это похвалили», — произнесла она детским голоском. — Лучше бы они книги читали, чем похабщину смотрели!

— Ну, мама, — возразил Николай, отложив книгу, потому что поднятая Валентиной тема его явно заинтересовала, — французская литература не входит в список обязательной книжной программы для чтения, тем более, для учеников четвёртого класса...

— И что теперь, всем направо и налево носы расшибать? — отчаянно спросила она.

— Нет, но... нужно читать не произведения заурыдных авторов, вроде Носова или Драгунского, а что-то поистине стоящее, вроде раннего Диккенса или Джейн Остин...

— Ты считаешь, что Носов и Драгунский бездарны? — несколько зловеще поинтересовалась мать.

— Да! — уверенно ответил Николай, глазом не моргнув.

— Что же, нам не о чем с тобой говорить, — безутешно заметила Валентина. — Лично я не знаю ни одного ребёнка, который бы с отвращением отбросил «Приключения Незнайки и его друзей» или «Денискины рассказы»...

— Странно, мама, что ты не знаешь меня, впрочем, не удивительно... — съязвил Николай.

— Да... да как ты смеешь! — задыхаясь от беспомощности и усталости, воскликнула Валентина и ударила рукой по боковине дивана. — Сейчас речь шла не о тебе. Боже мой, какой я раньше была спокойной, друзья даже упрекали меня в безразличии, а теперь во всё это просто не верится, — я горячусь по каждому поводу, я волнуюсь за тебя, я стараюсь, чтобы ты ни в чём не нуждался, и хожу на работу, общаясь с противными школьниками и не менее противными родителями. Как психолог, я понимаю, что это истеричность, от которой следует избавляться, а как психоаналитик, я понимаю...

— Что, нагружая себя работой, ты сублимируешь, — проговорил Николай, пытаясь сдержать смех.

В комнату осторожно вошла серая кошка с белыми пятнами, которая, внимательно посмотрев своими блестящими глазами с огромными зрачками сначала на обескураженную Валентину, а потом на самодовольного Николая, прокралась в дальний угол и, удобно улёгшись, подняла заднюю лапу, начав вылизываться.

— Какой же ты... какой же ты негодяй, — сказала мать с оттенком безнадёжности. — Я ведь не дремучая, какой ты меня считаешь... ты бы хоть время мне уделил, я бы тебе многое рассказала. Пускай я ничего не понимаю в твоей живописи, но я не отговариваю тебя заниматься ею; смотри, ты смог поступить в институт, ты образцово учишься — я горжусь тобой! Но... — задумчиво прошептала она, прикусив нижнюю губу. — Измени ко мне отношение, измени... И хватит уже сидеть за чтением этой французской литературы!

— А чем мне ещё заниматься? Я хочу отдохнуть и продолжить рисование; пейзаж я должен представить на завтрашнем занятии. И, поверь мне, французская литература гораздо благороднее, чем твои Ремарк и Хемингуэй.

— Не буду с тобой спорить! — заключила Валентина, опираясь на мудрость. — Ты будешь обедать?

— Нет.

— Хорошо... Если что — я на кухне.

— Договорились.

Когда Валентина стала выходить из комнаты, зазвонил телефон, она подошла к нему, подняв трубку, и поинтересовалась, кто спрашивает. Выслушав ответ, она повернулась к Николаю и сказала:

— Тут тебя.

Юноша, радостно отбросив книгу, подбежал к телефону, думая, что это Анна, но это был Сергей, друг и однокурсник Николая, подробное описание коего будет представлено позже.

— Здравствуй, Серёжа... — разочарованно пробурчал Николай.

— Что-то произошло? — осведомился юноша своим драматическим тенором.

— Да... так... с матерью повздорили, — сказал Николай, когда Валентина вышла из комнаты, захлопнув дверь.

— Чем она тебя опять донимает? Что-то серьёзное?

— Да так, не бери в голову... Ты по какому поводу звонишь?

— Нет, нет! — настаивал Сергей. — Расскажи мне!

— Ещё раз говорю тебе, ничего необычного не произошло. Забудь.

— Точно? — с недоверием спросил Сергей, готовый *разразиться* поддержкой.

— Да! — прошипел Николай, стиснув зубы.

— Ты помнишь, что мы завтра идём на выставку?

— На выставку... — протяжно произнёс Николай, что-то слабо припоминая.

— Да, да. Мы же месяц назад с тобой записывались. В числе художников будет сам Мразефович!

— А, точно, было дело... — спохватился юноша. — Ну... если у меня не будет других планов, — сказал он с затаённым ликованием, так как надеялся на приглашение Анны, — то я непременно буду.

— Ты случайно не знаешь, какое произведение мы будем разбирать на «Истории литературы»?

— Нет... — безразлично ответил Николай. — Точно знаю, что мы сейчас изучаем не французскую литературу.

— Точно, точно, — поддакнул Сергей. — А завтра будет занятие по «Рисунку», Визжаев ничего не говорил?

— Нет, завтра у нас с двенадцати сорока пяти сеансы по живописи, а потом «История литературы».

— Хорошо.

— Ладно... — завершил Николай, желая скорее приступить к живописи. — До завтра, ещё работы много.

— Хорошо, хорошо, — несколько раболепно произнёс Сергей, восхищавшийся мастерством друга, — не буду отвлекать, до завтра.

Закончив разговор, Николай подошёл к шкафу, чтобы переодеться. Накинув бежевую рубашку, он прошёл на лоджию, сев перед мольбертом. Включив настольную лампу, юноша стал внимательно рассматривать рисунок, думая найти недочёты. Так он сделал более выразительными оконные рамы и солнечные лучи, ставшие гораздо насыщеннее.

Заложив левую руку в прорехи рубашки, правой рукой он, виртуозно орудуя кистью, наносил мазки, про себя думая: «А если Анна не позвонит?.. Но она же меня поцеловала... А вдруг для неё это ничего не значит? Учтывая, как смело она это сделала, этот поцелуй был для неё не первым. Думается, это был всего лишь флирт, неожиданный для меня и закономерный для неё... Интересно, что бы она сказала, увидев мои картины? Она не похожа на ценителя искусства, буду надеяться, что она хотя бы любительница... или, в случае чего, делает вид... Хотя... такая вида не сделает, она себе цену знает и ни под кого подстраиваться не будет — натура вспыльчивая, эгоистичная и бескомпромиссная... Что же мне делать... что же мне делать... Надо было настоять и записать её номер телефона! Где моя мужественность? Наверное, растворилась в палитре...»

Закончив рисовать, он дождался, когда краска высохнет, и обернул картину плёнкой, выставив её в коридор. Пытаясь совладать с утомлением, он прошёл в ванную комнату, совершив надлежащие процедуры, и, не пожелав матери *спокойной ночи*, лёг на кровать...

Глава вторая

Художественный институт был основан именитым художником, сумевшим сосредоточить вокруг себя выдающихся собратьев, которые стали неокрепшим умам прививать чувство прекрасного.

Институт, одобренный советской властью, поместился в бывшем училищном здании, ранее принадлежащем меценату с княжеским титулом. Это здание было построено в начале века, а уже в середине его поглотил монументальный институтский корпус, существующий по сей день.

В тамбур корпуса, отделанный прямоугольной плиткой болотного цвета, были встроены две двустворчатые деревянные двери, над которыми высился железный навес дугообразной формы. Стены здания, выполненные из железобетонных плит, зияли дырами, местами замаскированными раствором. Если бы первого встречного спросили, что может находиться в этом здании, меньше всего он бы подумал про художественный институт...

Понуриив голову, Николай зашёл в здание, одной рукой держа картину, а другой прижимая к себе висящий на плече планшет, содержащий художественные принадлежности. Минув охранника, юноша ускорил шаг, чтобы избежать предъявления пропуска, в наличии которого он уверен не был.

— Пропуск! — раздался отвратительный крик, и Николай услышал, как охранник намеревается встать со стула.

Это был морщинистый седой старичок, спавший до того момента, пока не открывалась дверь. За баклажаноподобный нос, походивший на загнутый вниз клюв, студенты прозвали старичка *Грифелем*.

Николай, обернувшись, сунул руку в карман, начав долго шарить под пристальным взглядом старичка, скулы которого напряглись. Наконец, найдя пропуск, юноша предъявил его охраннику, разочарованно сказавшему: «Проходите», — и севшему обратно на стул, закрыв глаза.

Когда Николай подошёл к гардеробу, то увидел Сергея, сдающего вещи. Обрадовавшись ему, Николай обратился к другу:

— Как настроение?

— Прекрасно! — ответил он, расплывшись в улыбке.

— А ты что, задание не выполнил? — поинтересовался Николай, поставив на пол планшет и картину.

— Какое задание?

— По «Живописи». Что-то я не вижу у тебя холста...

Сергей, побледнев, посмотрел вокруг себя и, отчаянно сжав губы, раскрыл рот, закричав:

— Я забыл! О, боже мой, я забыл!

Сергей был худощавым и болезненным юношей, как и полагается существам мнительным и унылым. Его русые волосы, по-рафаэлевски спадавшие на плечи, были хлипкими и кудрявыми. Будучи доверчивым и ранимым, он был уязвим перед обидной бранью и оскорблениями, причём независимо от того, относилось это к нему или нет, он начинал проникаться, всячески обмусоливая сказанные слова, и, доведённый до белого каления, был готов свести счёты с жизнью.

Сергей сопереживал каждому обездоленному; так, однажды он не пришёл в институт, потому что, встретив нищего, сидевшего около церкви, составил ему компанию, став оплакивать его незавидную жизнь.

Серые, потухшие глаза Сергея с трепетом ожидали несчастий; его тонкие губы были созданы для того, чтобы дрожать в нервной судороге; его приподнятые брови были точь-в-

точь как на древнегреческой театральной маске, изображавшей страдание; кожа на его сухих кистях, напоминавших клешни, плотно обтягивала кости и поперечно лежащие водянистые вены; неслучайно и преподаватели, и однокурсники звали его между собой *Кощеем бессмертным*, только Сергей не хотел вечной жизни (это было для него страшнее вечных мук), он в романтических порывах грезил о героической смерти, словно ища заветную иглу, которую можно было бы обломить и прославиться в веках...

— Серёжа! Ничего страшного не случилось, думаю, можно будет принести на следующее занятие! — подбадривал его Николай, подавая куртку гардеробщице.

— Нет, нет, ты ничего не понимаешь! — как провидец, восклицал Сергей. — На меня все будут косо смотреть, злорадствовать, смеяться! Это конец! Я не вынесу такого! Не вынесу!

— Никто не будет на тебя косо смотреть и смеяться — я не дам тебя в обиду! — пробовал успокоить его Николай.

— Всё потеряно, всё потеряно! — сокрушался Сергей, не обращая внимания на гардеробщицу, недоумённо взирающую на эту сцену. — Тебе, конечно, хорошо, ты, вон, картину принёс... А я, что же я?

Николай, решив, что не сможет успокоить Сергея, взял бирку из рук гардеробщицы и, подняв с пола картину, направился к лестнице.

Сергей, заметив, что друг собирается уходить, схватил его за руку, упав на колени, и, проникновенно смотря в глаза, промолвил:

— Ты что, обиделся? Да? Я же не со зла, оно само вырвалось... Я же тобой восхищаюсь, искренне восхищаюсь! Ты для меня — образец для подражания. Ну, посмотри, как пишешь ты, и как я... Мне не место среди вас. Я бездарен! О, я бездарен! Я ни на что не гожусь! — ухватился он за новой повод для терзаний.

— Я не обижаюсь, — спокойно проговорил Николай, привыкший к аналогичным выходкам друга, и помог подняться Сергею.

— Хорошо... Ты... ты же мне честно ответил?

— Да.

Сергей неуверенно пошёл за Николаем, всё ещё чувствуя свою вину.

Так как с момента начала занятия прошло десять минут, то Николай, подойдя к двери, вежливо постучался, после чего открыл её, спросив:

— Можно войти?

Грузный мужчина, стоявший у кафедры, повернулся в сторону двери и, нахмутив брови, грозно сказал:

— Входите!

Николай, ворочая картину, дошёл до свободного мольберта и сел. Сергей, следовавший за ним, остановился, не обнаружив свободного стула, и, боясь обратиться к преподавателю, замер посреди класса.

Мужчина, обхватив кафедру заскорузлыми руками, продолжал рассказывать о свойствах цвета, обозначая более светлые, тёмные, холодные и тёплые оттенки; вдруг взгляд его зацепил Сергея, и он спросил:

— А почему же вы, молодой человек, не соблаговолите присесть? Или вы решились нам позировать? Так, напомним вам, что сейчас вы находитесь на занятии по «Живописи», а не по «Анатомическому рисунку», поэтому сядьте за мольберт и достаньте картину!

Сергей стоял молча, дрожа, и боялся разрыдаться.

Преподаватель, заметив замешательство ученика, подошёл к нему и участливо осведомился:

— С вами всё в порядке?

— Видите... видите ли, Игнатий Прокопьевич, я сегодня случайно оставил картину на домашнем мольберте...

— Собственно говоря, не удивили, — произнёс преподаватель.

— Простите, простите, простите, — затараторил слёзно Сергей.

— Молодой человек, не бередите себе душу. Это ни к чему. Это нехорошо. Займите, наконец, какой-нибудь стул и не отвлекайте меня.

— Дело в том, — жалобно отвечал Сергей, — что свободного стула нет...

Игнатий Прокопьевич, сочувственно посмотрев на Сергея, вышел из кабинета и спустя минуту возвратился, держа в руках стул.

— Вот, возьмите, — сдержанно попросил он. — И куда-нибудь определитесь!

— Хорошо, хорошо, — благодарно сказал Сергей, вытирая слёзы.

Игнатий Прокопьевич встал за кафедру и продолжил излагать свои мысли о цвете. Его монотонная речь, пронизанная филигранной учёностью и неотъемлемым пафосом, смежала глаза студентов блаженным и неодолимым сном. Прирождённый оратор, он был вынужден рисовать натюрморты и пейзажи, приглушавшие его талант; раболепно восторгаясь Кандинским, Игнатий Прокопьевич скрывал это восхищение, выдавая все вычитанные им положения за собственные. Он мыслил так: «Кандинского они уже вживую не увидят, а я вот — перед глазами; так пускай они думают, что это я такие открытия сделал, глядишь, запомнят лучше».

Будучи отцом троих детей, достохвально окончивших институт и нашедших себя в художественной профессии, он жил семьёй, предпочитая ей искусство. Студенты любили Игнатия Прокопьевича за остроумие, спокойствие, лояльное отношение к их невнимательности и рассеянности; не душой, так редким умом понимал он их, заранее зная, из кого будет толк, а кто сопьётся в ожидании признания.

Закончив спич, Игнатий Прокопьевич попросил учеников поставить картины на мольберты.

«Некоторые мастера не позволяют своим ученикам работать с холстами, заставляя их всё также рисовать на альбомах. Я придерживаюсь другого мнения... На мой взгляд, вы, существа ещё не сформировавшие свой стиль, не сможете с бухты-барахты представить на экзамен произведение, способное претендовать на отличную оценку. Надо научиться заранее, а так как вы сами себя организовать не сможете, то я решил, что будет полезным давать вам такое задание раз в месяц. Одно дело, когда вы здесь, при мне малюете на холстах, а другое — без меня. Итак, начнём», — интригуяюще начал он, подходя к ближайшему мольберту.

Николай, внимательно наблюдая за ним, решил нарисовать на него карикатуру. Так, он вдвое увеличил размер носа, губной желобок приукрасил вытянутыми в стрелку усами, а подбородок — укладистой бородой — получился какой-то кряжистый бюргер, взглянув на которого любой бы испытал страх, какой возникает при созерцании картин Босха.

Когда Игнатий Прокопьевич дошёл до Николая, то, поправив пенсне, стал увлечённо разглядывать картину, некоторые места освещая фонариком.

«Николай, — обратился он к нему, — вы меня порадовали!.. Взгляните, — проговорил Игнатий Прокопьевич, смотря на учеников, — словно Корреджо, Николай передал светотень, о важности которой, кстати говоря, я вам сегодня рассказывал. Эти слегка очерченные дома, эти выделяющиеся цветом деревья, а точка... вы только посмотрите на эту незатейливую чёрную точку, лежащую на... на чём?» — спросил он Николая, всматриваясь.

— На съезде, — ответил Николай, скрывая радость.

— На съезде, — продолжил Игнатий Прокопьевич. — А позвольте полюбопытствовать, что означает эта... эта точка?

— Упавшую девушку...

— Ах, кубизм и абстракционизм! — воскликнул Игнатий Прокопьевич, хлопнув в ладоши. — Это очень, очень хорошо.

Потрепав Николая за волосы, он подошёл к соседнему мольберту, за которым сидел негласный соперник Николая, Геннадий — художавый юноша, хваставшийся своей напускной

религиозностью. Так, глаза его загорались, если кто-то зарекался о священном писании или Библии; он тут же бесцеремонно начинал поддерживать разговор, демонстрируя своё искажённое понимание христианства.

Ненависть, испытываемую к каждому, кто был лучше него, он скрывал за смирением и экзальтированной богобоязненностью, выглядевшей нелепо и смешно. Выдавая поверхностный ум за глубокий, Геннадий часто попадал впросак, озлобляясь на мир. Будучи малахольным трусом и подхалимом, он пытался казаться решительным и независимым, но, сталкиваясь с трудностями, начинал заискивать, унижаться, раболепствовать, стараясь не замечать этих черт у себя. Как и всякое убогое существо с тщедушным взглядом на жизнь, он с первых же дней возненавидел Николая, отметив про себя его превосходящий талант, поэтому старался не упустить возможности, чтобы косвенно задеть его, но Николай, обладая превосходным чувством юмора и солидным запасом метких выражений, всегда ставил Геннадия в неловкое положение, получая от этого эстетическое удовольствие.

Их отношения сильнее ухудшились после выдержанного экзамена по философии, по окончании которого Николай получил оценку *отлично*, а Геннадий — *хорошо*. И всё бы ничего, но, выйдя из кабинета и дождавшись, когда Николай уйдёт, Геннадий во всеуслышание заявил, что сопернику оценку поставили несправедливо, руководствуясь личными предпочтениями, а не наличествующими знаниями. Естественно, эти слова были переданы Николаю Сергеем, который, затаив дыхание, выражал своё негодование. «Коля, — говорил он, как и всегда, слёзно, — мы ведь знаем, что это не так... Я же сам видел, когда был у тебя в гостях, что у тебя на полке стоит „Всемирная энциклопедия по философии“... Ему никто из наших не поверил... Никто!» Николай отнёсся к этому с долей иронии, так как сказанное Геннадием было сущей несурезицей. Во-первых, Геннадия в этот момент в кабинете не было, потому что Николай заходил в первой пятёрке сдающих, а тот во второй и, соответственно, ничего услышать не мог; во-вторых, преподаватель философии, педантичный и сентиментальный щеголь, ценил в студентах ум и заинтересованность в предмете, а не угодничество и лизоблюдство, чем хотел поразить его Геннадий.

Николая сместила эта состязательность, он считал людей, завидующих ему, беспечными и наивными, так как, поживи они его жизнью, они бы поняли свою фатальную ошибку.

Николай очень ответственно относился к учёбе и всё заучивал наизусть, и, если в школе этого не ценили, относясь к его стараниям предвзято, то, попав в институт, он стал первым учеником, гордостью факультета. Он не был заучкой, просто у него было понимание того, чего хотел услышать от него преподаватель. Овладев логикой и риторикой, юноша держал слово в узде, управляя им, а не гонясь...

Однажды, когда Геннадий, ошибившись при ответе на философский вопрос, процитировал Сократа, как ему показалось, с оттенком религиозной мудрости: «Я знаю, что ничего не знаю», — Николай, не выдержав, присовокупил: «Я всегда говорю, что я ничего не знаю, кроме разве одной совсем небольшой науки — эротики. А в ней я ужасно силен!» — после чего раздался безобидный смех однокурсников, и даже на лице преподавателя промелькнула беззлобная улыбка, а Геннадий, выдававший себя за аскета, если не за евнуха, гневно побагровел.

Изначально Николай относился к Геннадию с уважением и проявлял терпение к его насмешкам, но потом он понял, что это всего лишь религиозный фанатик и богословский филистер, ничего в себе не несущий, которого давно покинул разум и здоровое отношение к жизни.

— Что Вы написали? — спросил Геннадия Игнатий Прокопьевич.

— Мужчину, подставляющего щёку обидчику, — восторженно выпалил Геннадий. — Причём, следует заметить, что по одной щеке его уже ударили — видите это лёгкое покраснение, — произнёс он, показывая на обсуждаемый фрагмент пальцем, — и мужчина, несмотря на это, подставляет вторую щёку, чтобы тем самым урезонить обидчика.

— Да, да, хорошо, только в следующий раз уделите больше внимания цветовой совместимости, потому что чёрный и жёлтый плохо сочетаются... видите, вот в этом месте, — проговорил профессор, указывая пальцем, — очень смазано... И... конечно... это не пейзаж, а портрет!

— Это пейзаж, — сказал Геннадий, напрягши связки челюстных мышц на орошённом веснушками лице. — Мужчина изображён на фоне природы.

— Но ведь природа на втором плане, — вмешался мастер.

— И тем не менее, — фанатично произнёс Геннадий, подняв глаза вверх и втянув щёки, отчего лицо его приобрело мученический и крючковатый вид. — Это пейзаж, ведь на втором плане я мог изобразить домашнее убранство или просто сделать его монотонным, — заключил суггестивно он, сложив перед собой ладони, словно собирался молиться на мастера.

— Признаться честно, ход ваших мыслей до сих пор остаётся для меня загадкой, — начал Игнатий Прокопьевич, почесав лоб, — но... допустим... допустим...

— Хорошо, хорошо, — преданно смотря в глаза, вставил Геннадий.

— А можно задать вопрос Геннадию? — вызвался Николай, приняв воинственную позу.

— Да, да! — поощрительно сказал мастер.

— У меня есть вопрос к сюжету... — прибавил Николай. — Почему ты считаешь, — обратился он к побелевшему Геннадию, — что, если человека ударили по одной щеке, он должен подставлять вторую?

— Потому что так проповедовал Иисус! — с нотками религиозной нетерпимости ответил Геннадий.

— Предположим... Но, насколько я знаю, его слова нельзя понимать буквально. Лев Николаевич Толстой из-за приверженности и пропаганды теории о непротivлении злу был отлучён от церкви. То есть, церковь выступает против подобной трактовки. А если ты, каждую неделю ходящий на церковные службы, утверждаешь, что надо потворствовать злу, то ты выступаешь против церкви и веры?

— Я не исповедую идей, которых придерживался Лев Толстой, — проговорил быстро и резко Геннадий, словно затем, чтобы отвести от себя подозрения. — И я не потворствую злу, я считаю, что не надо, в случае чего, давать сдачи, чтобы усмирить человека, наоборот, наше сопротивление раззадорит его и завяжется драка, а так мы сможем это предотвратить!

— Наш мир держится на противостоянии добра и зла, борющихся за человеческие души; и, на мой взгляд, добро должно быть с кулаками, иначе зло поглотит наше и без того испорченное общество.

— Нет, нет, нет! — воскликнул Геннадий. — Это еретичество! Оказывая злу сопротивление, мы подначиваем его, дразним!

— Хорошо, наш спор разрешить нетрудно, — уверенным голосом сказал Николай. — Если ты не против, то я сейчас подойду и ударю тебя по щеке. Все мы посмотрим, как ты отреагируешь.

Вжавшись, Геннадий сидел, зажмурив глаза, и одной рукой робко держался за мольберт. Николай, решительно направившись к нему, хотел было ударить и уже занёс руку, представив, как её ладонь долгожданно ляжет на онемевшую щёку Геннадия, повергнув обидчика на пол... но услышал вопль, изданный Сергеем.

Обернувшись, он увидел, как Сергей, упав на колени, движется к нему.

— Прошу тебя, не бей его, прошу тебя... — умолял он, предлагая свою щёку взамен щеки Геннадия.

В то время как однокурсники взволнованно наблюдали за происходящим, Игнатий Прокопьевич, опершись на подвернувшийся под руку мольберт, достал сигарету и закурил.

— По местам! — спокойно скомандовал он.

Николай пошёл в сторону своего мольберта, а Геннадий, пронзая недруга проклинающим взглядом, кусал нижнюю губу.

— А я вам анекдот расскажу, — продолжал мастер. — Между прочим, он вам должен понравиться. Давеча услышал. Значит, во время утренней проповеди поп задаёт вопрос прихожанам: «А кто среди нас безгрешен?» — желая, естественно, получить ответ: «Все мы грешны...» А один прихожанин, сварливый и беззубый старичок, возьми ему да ответь: «Лентяи, батюшка, безгрешны, они самые!» — «А почему же?» — недоумённо спрашивает его поп. «А потому, — говорит этот старикашка, один глаз хитро прищулив, — что всякий труд грех сопровождает, а когда тунеядничаешь, то и соблазнов нет!» А мы с вами кто, товарищи? — с затаённой улыбкой спросил мастер.

— Тунеядцы, — ответил, тяжело вздохнув, Фёдор: смазливый и безусый юноша, одетый в мятую навывпуск рубашку и побагровевшие заломленные брюки.

— Правильно! — похвалил его Игнатий Прокопьевич, рассмеявшись, — так что — живо, за работу!

Войдя в кабинет, Пётр Леонидович подошёл к доске и, не увидев мела, обратился к Николаю с просьбой:

— Пожалуйста, спуститесь на первый этаж и попросите у вахтёра мел.

Пётр Леонидович был доктором филологических наук, преподававшим «Историю литературы». Этот старичок с геморроидальным цветом лица восхищался Шаламовым и Солженицыным, презирая Васюнина и Шолохова. Он искренне ратовал за свободу слова и совести, выступая против либерализма и демократизма, — каким-то парадоксальным образом он разводил для себя эти одинаковые по смыслу понятия.

Так, он утверждал, что свобода слова заключается в возможности говорить не номенклатурными штампами, а живым русским языком, созданным классиками; а свободу совести он рассматривал с позиций просвещения и вольного воспитания. Под *либерализмом* же он понимал воспевание европейских ценностей, чуждых русскому менталитету; стоит отметить, что Пётр Леонидович, слыша слово *либерализм* — морщился, подёргивая плечами, и готов был зачинить перепалку. Под *демократией* он разумел власть меньшинства или *миноритартию*, преследующую интересы элитарных групп, зачастую стоящих на общественной вершине; также нужно сказать, что *демократами* он обзывал кого ни попадя: и школьников, распивавших во дворе кока-колу, и девушку, красующуюся в заграничной одежде, и депутата, призывающего внедрять западные экономические модели...

Обладая энциклопедическими знаниями в области литературы, особенно немецкой, Пётр Леонидович избрал местом своей работы художественный институт из-за любви к искусству, так как он считал, что именно здесь остались последние творцы, а все остальные, включая писателей, музыкантов и танцоров, стали воспринимать своё призвание как ремесло. Он цитировал Гейне, он упивался Шиллером, он завидовал долголетию Гёте, он поражался эрудиции Томаса Манна, ему был близок сценарный литературный стиль Ремарка и чуждо графоманство Гессе, — но, самое главное, обо всём об этом он говорил с неописуемым вдохновением, желая воспламенить любовь учеников к литературе, заставив их читать часами, не отрываясь от книги...

Из-за одиночества Петру Леонидовичу нравилось, когда кто-нибудь из сочувствующих студентов провожал его до дома; во время этих прогулок он убыстрял темп речи, пытаясь рассказать обо всём, словно опасаясь больше не увидеть этого ученика.

На лекциях Пётр Леонидович, вышагивая, будто цапля, вытягивал голову вперёд и со сверкающими глазами начинал рассказывать с оттенком гривуазности о каком-то произведе-

нии, поминутно всплёскивая руками. Вот и сегодня он, положив на стол папку с написанными лекциями, выжидательно посмотрел на студентов, пытаясь понять, о чём они думают...

Николай, спустившись на первый этаж, подошёл к вахтёру и спросил:

— Можно взять мел?

Вахтёр — ветхая и склочная старуха с заиндевелыми губами, криво расположенными вследствие инсульта, тупо смотрела на него.

— Можно взять мел? — переспросил Николай, повысив тон.

Но вахтёр продолжала сидеть молча. Тогда Николай, не выдержав, громко повторил свой вопрос в третий раз. После чего старуха, словно воспрянув ото сна, воскликнула:

— Я рада, что ты ел! Молодец! Но мне об этом знать не обязательно! — и опять погрузилась в прострацию.

Опешив, Николай робко поинтересовался: «Можно... можно у вас взять мел?»

— Бери! Зачем меня-то спрашивать! — недовольно ответила вахтёр, перестав обращать внимание на Николая.

Взяв его, Николай поднялся на второй этаж, зашёл в аудиторию, отдав мел преподавателю, и сел за парту, душимый смехом.

— Сегодня мы с вами будем разбирать известный роман, — начал Пётр Леонидович, скрестив руки на груди, — впервые он был опубликован в Италии в 1957 году, а в Советском Союзе только в 1988 году... Я полагаю, что вы должны знать, о чём идёт речь... Автор за этот роман получил Нобелевскую премию, от которой был вынужден отказаться, так как ему вменяли неоднозначную оценку Октябрьской революции... Прежде чем начать лекцию, я хочу поинтересоваться: кто этот автор и что это за произведение?

Николай, не слыша вопроса, сидел за партой, делая какие-то наброски в блокноте. Находившийся рядом с ним Григорий, с описанием которого мы пока повременим, подняв руку, сказал:

— Я думаю... что это Маяковский!

— Маяковский? — осведомился преподаватель, уставив на Григория недоумённый взгляд.

— Да, Маяковский, — повторил он для пушей убедительности.

— Маяковский был номинирован на Нобелевскую премию?

— Может, почему бы и нет... Поэт ведь хороший... — ответил юноша, подчеркнув свои политические взгляды.

— Да... хороший поэт, — проговорил профессор, ухмыльнувшись. — То есть, вы точной информацией не располагаете?

— Нет! — отчеканил Григорий.

— Допустим... — найдя в себе силы, процедил преподаватель. — А в каком году умер Маяковский?

— Не знаю.

— Краеугольным камнем в творчестве Маяковского является... — начал Пётр Леонидович насмешливо.

— Любовная лирика! — вставил Владимир (худощавый юнец, грушеобразная голова которого, водруженная на тоненькую шею, была в состоянии выдержать только берет).

— Ах! — ужаснулся Пётр Леонидович, осведомившись: — Коли так... то назовите мне какой-нибудь стих Маяковского, написанный в жанре любовной лирики?

— Облако в штанах!

— Это стих?

— Поэма! — громогласно ответил Николай.

— Хорошо! — проговорил Пётр Леонидович в надежде, что ещё кто-нибудь из аудитории вызовется ответить, но все молчали, и тогда он продолжил: — А когда застрелился Маяковский?

— Не знаю... — пробурчал кто-то.

— Давайте думать... Октябрь семнадцатого года, революция... Были большевики, меньшевики, эсеры, анархисты... монархисты, безусловно, были, но лишний раз о себе не напоминали... Так к какому идеологическому течению примыкал Владимир Маяковский, если он написал стихотворение «Владимир Ильич Ленин»?

— К монархистам! — воскликнул Владимир.

— Правильно! — похвалил его Пётр Леонидович, похлопав по плечу. — Потому что Владимир Ильич Ленин, — последний император из рода Романовых, да?

— Да! — гордо заявил Владимир, совершенно не вдумываясь в смысл сказанных слов.

— Ленин... монархист? — осведомился Лентяев, соромный и скабрёзный юноша, до того чинно спавший на задней парте...

— Позвольте полюбопытствовать, а кто же он тогда? — поинтересовался Пётр Леонидович, выпучив глаза.

— Большевик... — ответил тот.

— Ура! — воскликнул Пётр Леонидович, радостно сжав кулаки. — А теперь вы, Гриша, скажите мне, к какому идеологическому течению примыкал Маяковский?

— К большевикам!

— Правильно! Социалистический большевизм! Как ты думаешь, если он в 1924 написал стихотворение, посвящённое Ленину, то в какой круглый год он умер?

— В 1930?

— Правильно!

— А... — протянул Гриша. — Тогда ясное дело. Это Есенин!

— Есенин? — встрепенулся Пётр Леонидович так, что залысина на его голове стала ещё больше.

— Да, Есенин! Мне нравятся его стихи.

— Хорошо, что вам нравятся его стихи. Не стану сейчас вас экзаменовывать по Есенину, — поверю на слово. Но ведь Есенин почил на пять лет раньше, чем Маяковский.

— В 1920? — поинтересовался Лентяев.

— Нет, в 1925, — сказал в его сторону Пётр Леонидович, обратившись к Григорию: — Есть ли у вас ещё варианты? Подумайте, 1957 год... Живы всего лишь два гениальных русских поэта... Кстати говоря, ранее их было четыре, если опираться на мнение Бродского... Кто это?

— Цветаева, Ахматова, — продолжая заниматься своим делом, пробурчал Николай.

— Правильно, правильно! — воодушевлённо подхватил Пётр Леонидович, но, увидев, что на этом Николай закончил, добавил. — Было ещё два... И оба они — мужчины. Одного, так уж и быть, я назову — это Осип Мандельштам, вряд ли вы его знаете, это был кумир нашего подпольного века... А вот другого... постарайтесь, пожалуйста, вспомнить!..

— Анненский? — задался Григорий, смотря в окно, за которым солнце призывало бросить все занятия и идти гулять на природу.

— Анненский? — переспросил Пётр Леонидович, не веря своим ушам. — Анненский... Да, да... Иннокентий Анненский, из него, выражаясь несколько фигурально, вышли все наши поэты серебряного века... Но речь сейчас не о нём.

— Он же был мужем Ахматовой! — козырнул Григорий.

— Нет! — воскликнул Пётр Леонидович, сведя брови. — Первым её мужем был Гумилёв, а вторым...

— Тогда Гумилёв! — проговорил церемонно Григорий.

— Нет, Николай Гумилёв не мог написать роман, потому что его расстреляли в 1921 году... Итак, — заключил Пётр Леонидович, всем своим видом показывая, что чаша его терпения переполнена. — Я имел в виду Бориса Леонидовича Пастернака... Пастернака! — произнёс он, патетически взмахнув руками, и сел на стул, опустив взгляд в пол.

Николай сидел, продолжая рисовать, и не заметил, как на его листе возникла Анна в negligé, опирающаяся локтями на подоконник. Он специально углубил вырез её рубашки, чтобы чувственные груди чуть сильнее выступали наружу, добавляя таинственность её виду.

Пётр Леонидович ходил по классу, распыляясь, в то время как студенты были заняты каждый своим делом... Пальцы его костлявых рук судорожно трясли поочерёдно сменяемые листки, пожелтевшие от времени; преподаватель подходил к доске и начинал зарисовывать планы каких-то садов, домов, железной дороги, чтобы наглядно показать ученикам, в каких условиях происходили описываемые события, но сидящие в классе рассматривали его рисунки с художественной точки зрения, отмечая про себя кривизну линий, нелепость форм и несовершенство штриха. Завершая занятие, Пётр Леонидович подошёл к столу, начав складывать листки в папку, и обратился к студентам:

— Знаете, ребята... в советское время мы ставили преграды перед капиталистическим будущим, теперь, при капитализме, мы отгородили презренной стеной социалистическое прошлое... Любой режим навязывает границы, и лучше, когда они у основания, чем у вершины, — тогда есть возможность оттолкнуться от твёрдой почвы и полететь, расширяя горизонты... Так я думал раньше, да, так я думал... А теперь я понял свою роковую ошибку... Мы взлетели и стали невесомыми, и теперь нами управляет попутный ветер, а мы, будто микрококки и бациллы, бьёмся друг о друга, не зная направления... Блаватская — её-то вы и подавно не читали — пророчила наступление рая на земле в двадцать первом веке, но я не думаю, что за предстоящие полтора года мы пройдем девять кругов ада, достигнув высшего блаженства. Нет, мы попадём в чистилище, если ещё там не оказались! Мы привыкли представлять чёрта с рогами и копытами, а он — вот, в человеческом обличье выходит и падает ниц перед Америкой под рукоплескания наших ненавистников... Вам не понять этого унижения, ваше взросление происходит сейчас, в такой сложный и неоднозначный период, минёт столетие и, может быть, только тогда кто-то осмелится сказать правду о нашей эпохе, обличив её тлетворность и бонвиванство! Мне кажется, лица людей изменились: с них сошла одухотворённость, идейность, лучезарность, приветливость, — они стали мрачными, искажёнными под тяжестью трудностей, хмурыми, унылыми, сердитыми... А ведь, казалось бы, всё есть для счастья, — всё доступно и позволено! Но дело в том, что людям дали демократию, а не свободу, им создали условия безнаказанности и вседозволенности, из которых проистекли беспредел и несправедливость... За какие ценности они сражались? За чужие! Вместо праздника им дали замшелую мишуру, с которой они играют по сей день, полагая, что это и есть торжество! Что такое русская культура сейчас? Рудимент! Мы, словно по инерции обращаемся к ней, считая это делом зазорным и предосудительным... Кино у нас — импортное, выставки — зарубежных мастеров, музыка — иностранная... Мы сознательно обрубаем собственные корни и радуемся этому! А чтобы вам так не сплеховать... изучайте литературу, господа... Изучайте! Посмотрите, сколько хорошего она в себе несёт; неужели она не вызывает у вас желания окунуться в эти сюжеты, стать их героями, ощутить описываемый блеск, нищету, радость, горе?... Ведь столько гениальных писателей пускали блаженные часы сна на написание произведений, чтобы современники и потомки зачитывались ими, задумывались над поставленными ими вопросами, куда-то шли, двигались, но не огибали мир мысли... Что я вижу сейчас? Упадок... Печально, что этот упадок среди вас, мои хорошие... Я столько лет преподаю в этом институте, я помню молодыми тех, кого сейчас именуют великими мастерами... И какой же подарок мне судьба уготовила на закате лет? Муку — не отпускающую меня, заставляющую проклинать день своего рождения... Странно, что мне приходят в голову подобные наивные, инфантильные мысли, я бы не

удивился, услышав такое из ваших уст... Но, мне кажется, все мы сейчас стали беспризорными детьми, канючащими незыблемости, равновесия, устойчивости... Я не думал, что стану свидетелем вот... вот этого всего, — расчувствовавшись, произнёс он, разведя руками. — И я не одинок в этом разочаровании, в этом непринятии и непонимании. Думаете, раз я состарился до срока, то впал в детство и несу всякую чушь? Нет, вы заблуждаетесь! У меня ясный ум, здоровье только, жаль, пошатнулось, а если бы не оно, я бы, опустив руки, не сидел, я бы не стоял сейчас перед вами, а подался бы в депутаты — прямиком в Думу, страну спасать! А так... что я могу сделать на своём месте? Как мне что-то привить вам, отвергающим каждое моё слово, имеющим собственное мнение, мыслящим совершенно другими парадигмами? Обучая вас, я вынужден закрывать глаза на вашу незаинтересованность и невнимательность, которую лет десять назад просто невозможно было представить, но, поскольку в стране кадровый голод, и сейчас любой — хромой, косой, плюгавый — на хорошем счету, то все мы держимся за вас, потакаем вашему безразличию и скудоумию, разве что в ноги не бросаемся! Отчисляя вас, мы затягиваем петлю на собственной шее... Противно! Но надо как-то жить и работать, потому что на пенсии ещё хуже... её фактически нет! А здесь, хоть носками, хоть постельным бельём, хоть ещё не обесценившейся купюрой прокормить себя можно! Поэтому... читайте, читайте... Пастернака читайте, Искандера, Симонова, Гроссмана... Только из современных никого не читайте, — предупредил он строго. — Купил я надысь роман один... «Будённый и вакуум», слышали?

— Да! — воскликнул Николай, внезапно проявивший интерес к рассуждениям Петра Леонидовича.

— Так вот... У меня создалось ощущение, что автор данное произведение писал в наркотическом опьянении. Правда, столько казуистики, словоблудия, откровенного вздора... И ведь мне порекомендовал эту книгу не какой-нибудь искушённый букинист, а мой коллега, тоже доктор филологических наук, с которым мы вместе учились в университете... Он с таким восторгом отзывался о романе, что после прочтения я задумался: «А, может, я и впрямь перестал понимать литературу? Может, это я читал в наркотическом опьянении? Может, это мои изнурённые годами глаза видели ахинею и галиматью *заместо* утончённой беллетристики и изящной словесности?» Но нет, господа, опыт подсказывает мне, что я прав, а произведение — сущая белиберда! А вы читали?

— Нет! — ответил угрюмо Григорий.

— И правильно! — заметил профессор. — Лучше не читать ничего, чем читать такое — целее будете!

— А французскую литературу вы как оцениваете? — поинтересовался Николай. — Мы её будем проходить?

— Мы будем проходить её в следующем семестре. Классическая французская литература мне по душе, конечно, среди писателей двадцатого века встречаются одарённые представители, но... это уже не то... Французская свобода, считавшаяся эталоном, в их произведениях закована в кандалы и посажена за решётку! Впрочем, сейчас никому дела нет до того, чем мы с вами занимаемся, поэтому, если вы хотите, я могу отклониться от программы и провести лекцию по творчеству какого-нибудь французского писателя...

— Да! — радостно воскликнул Николай.

— Да, да, да! — подхватили заворожённо слушающие ребята.

— Хорошо, — ответил Пётр Леонидович. — Так и сделаем... А начнём с Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»! И пока вы ещё не ушли, чтобы предаться развлечениям, я вам скажу... Быть может, это изменит ваш взгляд на действительность... Я признаю только один растворитель для красок — слёзы. Невыстраданное произведение искусства сродни чистому холсту: ни там, ни там ничего нельзя увидеть! Чем писать ассамблеи, балы, опостылевшие ватаги, лучше кисти не марать! Должен быть реализм, понимаете, жизненность... Мы живём в сум-

бурное, противоречивое время, конечно, его сложно изобразить, и здесь не получится отделаться огромным, во весь лист чёрным пятном. Понимаете, это будет пошло! Это будет означать, что чувственность художника довлеет над его фантазией. Под чувственностью я понимаю способность предельно ощущать время и ход истории; но неумение красиво и точно выразить всё это на холсте обесценивает ваши навыки, нужно вырабатывать у себя терпение, господ, терпение. А в нынешнее десятилетие все про это забыли... Впрочем, все и могут забыть, но не художники! Запомните! — воскликнул он, всем своим видом напоминая Моисея, трясущего скрижалями над толпой, предавшей забвению Божью веру. — А теперь — идите! — проговорил Пётр Леонидович, сопроводив свои слова жестом...

Глава третья

Художественная выставка, ставшая самым радостным событием за последнее время, проходила в здании Дома культуры, помещение которого было переделано под огромные экспозиционные залы. Газеты, доселе публикующие нечто трагическое и сенсационное, украсили свои первые полосы объявлением о предстоящей выставке. В заметке одного из ведущих журналистов своего времени, к мнению которого прислушивались приверженцы разных идеологий, было написано следующее:

Известный художник Мразефович, вернувшийся из годового путешествия по Монголии, уже в этот понедельник представит полотна, написанные там, — увидеть их вы сможете на выставке, которая пройдёт в здании бывшего Дома культуры. Естественно, ожидается нечто сногшибательное и ошеломляющее, наши эксперты находятся в предвкушении, ведь Мразефович — личность феноменальная и сумасбродная, стоит только вспомнить его выходку на Парижской выставке, когда он облил краской художника, раскритиковавшего его картины за чрезмерную откровенность и непристойность! Мразефовича называли безродным парвеню, нуворишем и снобом, но, тем не менее, интерес к его творчеству с каждым годом нарастает всё больше и больше! И все мы, ценители современного искусства и апологеты постмодерна, с нетерпением ждём этой выставки, чтобы соприкоснуться с новомодным искусством, вкусив его прелесть!

Николай и Сергей, открыв деревянную дверь, очутились в холле, набитом людьми. Посетители художественных выставок, за редким исключением, были похожи на римлян республиканского периода, которые, не понимая ценности искусства, воспринимали его материально — как некую роскошь, служащую элементом состоятельности, — и заставляли художников писать на заказ. Ведь заказчик требует написания не природы, не семейной саги, а себя, принявшего величественную позу и заимевшего, к удивлению Божию, совершенные пропорции тела! Художники данного периода походили на Мурильо, творящего для интеллигенции, желающей видеть на холстах только собственную персону в идеализированном виде и не приемлющей натуралистической правды!

Обездушенное общество радовалось ваучерам и финансовой пирамиде «МММ», наблюдая культурный упадок; и никто не бил тревогу, потому что человек перестал быть личностью: он разорвал связь с искусством, найдя общий язык с безудержным потреблением. Теперь всё — дружба, любовь, привязанность, отчаяние, жизнь в целом — измерялось у него в деньгах! Разница между постсоветским и советским временем была такая же, как между эсперанто и волапуком. Как говорил в пиретериуме революции Малевич: «Наша жизнь ни единым днём не похожа на прошлую, разве только схожа волнами и убийствами...»

Заправлявшие выставками арт-дилеры напоминали церковь после контрреформации, ищущую нового Рубенса, чтобы чувственностью проиллюстрировать бесстрашные библейские тексты, — но выходили лишь произведения мове-жанра, отравлявшие всё хорошее, что каким-то чудесным образом появлялось и тут же исчезало...

К такого рода низкопробным творениям можно отнести экспонат, выставленный на общее обозрение в 1996 году Дэмиеном Хёрстом: он представлял собой половинки свиньи, помещённые в аквариумы с формальдегидом, — стоит отдать должное, что безобразие, обуявшее Штаты и Европу, начинало потихоньку просачиваться и в терзаемую потрясениями Рос-

сию, впитывающую в себя всё, что отрезвляло её. Каждый современный художник знал, что, будь он одарён недюжинным талантом, но не имей дилера, — ничего не добьётся...

Поэтому художники, желающие выжить в эпоху пауперизации, были вынуждены лавировать между значительными арт-дилерами и зажиточными клиентами, сулящими им хорошую выгоду...

Сдав вещи в гардероб, Николай и Сергей направились к искусствоведу, стоящему около лестницы, — это была осанистая женщина с подведёнными ресницами и рыжей чёлочкой, спадавшей на узкий лоб.

— Подскажите, пожалуйста, — начал Николай тоном ценителя. — На каком этаже проходит выставка Лаврентия Мразефовича?

— На втором! — несколько надменно ответила она, беспокойно смотря на входящих в холл людей.

— А не могли бы вы нас проводить? — спросил смущённо Сергей. — Мы здесь никогда не были и ориентируемся прескверно, тем более, мы художники.

Женщина, посмотрев свысока, заметила:

— Здесь почти все художники — и как-то разбираются. Подойдите к кому-нибудь, спросите, и не мешайте мне: я занята.

— А чем вы, собственно говоря, заняты? — ради интереса решил осведомиться Николай.

— Я жду, когда придёт Мразефович! — сказала она настолько кичливо, что можно было подумать, будто её поставили встречать самого президента.

— Хорошо, извините за беспокойство, — проговорил Николай, отведя Сергея в сторону.

— Давай тут постоим, — предложил он, косясь на искусствоведа. — Всё равно там Мразефовича нет.

— Но ведь картины висят! — резонно заметил Сергей, всю неделю до этого грезивший о посещении выставки.

— Хорошо, — продолжил Николай. — Ты знаешь, в каком именно зале они висят?

— Нет.

— Тогда куда мы пойдём?..

— А давай, — предложил Сергей, зардевшись, — мы спросим вон ту девушку в атласном платье?

Повернув голову, Николай заметил худенькую светловолосую девушку, очарованно взирающую на мужчину, которого она держала под руку. Казалось, представительный мужчина в смокинге, о чём-то увлечённо разговаривавший с себе подобным денди и чем-то напоминавший его лицом, не замечал свою спутницу, с ноткой затаённого восхищения смотрящую на него.

— Полагаю, что мы только потревожим её, — сочувственно констатировал Николай.

— Эх... — тяжело вздохнул Сергей, продолжая разглядывать девушку.

В его пристальном, изучающем взгляде сквозили восхищение, симпатия и обожание, приправленные деликатной нежностью и добротой; и если бы Николай не перевёл его внимание на входящего в холл Мразефовича, то Сергей бы, забыв о замечании друга, подошёл к девушке, получив предсказуемый отказ, и со страдающим сердцем возвратился обратно.

Мразефович, подавая пальто гардеробщице, пустым взглядом окидывал подходящих к нему людей, которые пытались пожать ему руку. Один мужчина, судя по всему, являвшийся рьяным поклонником творчества художника, хотел заключить его в объятия, но тот, испуганно уклонившись, промямлил: «Отойдите, я вас не знаю... вы меня чуть не убили!» Из-за впалых щёк, ещё сильнее западающих во время открывания рта, Мразефович говорил с большим трудом, сам до конца не понимая, что произносил... Его восковой лоб, усеянный поверхностными морщинами, имел круглую форму, отчего патлатые седые волосы закруглялись в районе висков. Взгляд Мразефовича, ничего не несущий в себе, отдавал чем-то мертвенным и давно

ушедшим, лучше своего выразителя понимая, что время, когда он был многообещающим и лучистым, прошло... Ехидно сомкнутые губы и зловещие носогубные борозды, оттягивающие жировые грыжи век, делали лицо художника похожим на сморщенную картофельную кожуру. В целом болезненная худоба Мразефовича, *горб квазимодо* и тонкая жилистая шея выдавали в нём неврастеника, думающего найти спасение в живописи!

Увидев подходящую к нему женщину, Мразефович бросился к ней, с трудом переставляя свои тощие ноги, и, схватив за руку, что-то прошептал ей на ухо, после чего они пошли по лестнице.

— Последуем их примеру? — спросил Сергей Николая, сгорая в предвкушении.

— Да, хорошо, — ответил тот.

Только они собрались идти, как к ним подошёл мужчина в смокинге, больно схватив Николая за руку.

— Показывай, что это у тебя в тряпку завёрнуто! — приказал он, отдернув руку.

— Это картина, — сдержанно проговорил Николай, пытаясь сохранить выдержку; лицо Сергея, наблюдавшего за этим, стало бледным и беспомощным.

— Нет, парень, так не пойдёт, — грубо настаивал мужчина. — Картину эту придётся унести или же самому удалиться вместе с ней, потому что все картины, участвующие в выставке, утверждались заранее! Тьфу ты, провинциальщина, вечно из кожи вон лезут! — фыркнул он.

— Во-первых, я столичный; во-вторых, я не собирался экспонировать свою картину, я хотел показать её на оценку Мразефовичу! — решительно заявил Николай.

— Мразефовичу? — изумился мужчина, прыснув от смеха. — Интересное дело, интересное... Ну, что же... Проходите... Я сопровожу вас, чтобы сообщить наблюдателям, что это не украденная картина, а ваша!

— Мы не против! — согласился Николай.

Поднявшись на второй этаж, мужчина подвёл юношей к какой-то старушке, что-то сказав ей, после чего она, утвердительно кивнув, пропустила молодых людей в зал.

Оказавшись там, Николай и Сергей занялись изучением выставленных картин.

Сергей, легонько тронув Николая за плечо, растерянно показал ему на картину, изображающую телесный разврат и верх человеческой низости, сдобренный откровенностью и бесстыдством. Подойдя поближе, Николай испытал отвращение, чуткостью своего девственного сердца угадывая недопустимость претворения аналогичных сюжетов, пускай и талантливо исполненных, но вызывающих неприязнь и отчуждение; ведь искусство, призванное освещать прекрасное, не может себе позволить опуститься до низменностей и пошлости, свидетельствующих не о следовании реализму или натурализму, а о наличии у художника грязной эротомании, выражаемой таким образом.

— А почему им восхищаются? — вырвалось у Николая.

— Насколько я помню, к нему пришла известность после того, как он написал портрет Горбачёва на фоне американского флага; репродукция этой картины разошлась тиражом в сотни тысяч экземпляров!

— А насколько я могу заключить из этой картины, — парировал Николай, — предметом его интересов являются не главы государств, а нечто другое...

— Странно... — задумчиво произнёс Сергей. — О нём хвалебно отзывались в прессе!

— У... — протянул Николай, махнув рукой, — были бы деньги, и про тебя бы каждый день в газетах писали!

Приблизившись к следующей картине, они увидели не менее ужасающее зрелище, описать которое не представляется возможным в силу *наличия самоцензуры* у писателя настоящего романа.

— Не знаю, как ты, а я намерен уйти... — негодующим тоном заявил Николай. — Это не искусство, а профанация! Всякое желание самому писать после такого пропасть может!

Это... это какой-то психически больной человек! — воскликнул он, обратив на себя внимание экспонентов.

— Давай... ещё посмотрим? — предложил Сергей, настолько сильно ожидавший этой выставки, что сразу не мог принять действительного положения вещей.

— Хорошо! — поддержал Николай, пойдя на поводу у друга.

Когда они направились к очередной картине, в центр зала вышла женщина, с которой они уже имели честь познакомиться в холле, и сказала, что через десять минут в зале, располагающемся напротив, начнётся встреча Мразефовича с поклонниками.

Николай и Сергей решили посетить её. Очутившись в этом зале, они сели на кресла, находящиеся на заднем ряду, и устремили взгляд на сцену, на которой с минуты на минуту должен был появиться прославленный художник.

— Николай! — окликнул его кто-то.

Посмотрев назад, он заметил Григория, машущего ему рукой.

Это был ражий парень со старательно зачёсанными назад светлыми волосами. Из миндалевидного разреза виднелись глубоко посаженные изумрудные глаза, светившиеся азартом и прытью. Его остроконечный подбородок, предвещающий приподнятые скулы, был небрит, в то время как губной желобок зарос обильной растительностью, едва не зацепив щёчную область. Римский пористый нос, придающий импозантность натурам целеустремлённым, венчался резкими бровями, находящимися на аристократическом лбу. Одетый в туфли-кирпичи, вельветовые штаны и свитер с надписью «Boys», Григорий чем-то напоминал бойскаута.

Подойдя к Николаю и Сергею, он пожал руку первому, потрепав за волосы второго, и сел рядом с Николаем, укорив:

— Вот те на, друг называется. Ты почему мне не сказал, что на выставку пойдёшь?

— Я не до конца был в этом уверен, — виновато проговорил Николай.

— Да, ладно, я не сержусь, — сказал Григорий, по-дружески хлопнув Николая по плечу. — Понимаю — дела. Я, честно говоря, всё сомневался: идти, не идти. Всё-таки Мразефович... это Мразефович, — величественно произнёс на распев он, — а не хухры-мухры... На какого-нибудь Ляпкина-Тяпкина я бы, конечно, не пошёл, а тут, говорят, талант, даже гений!

— А ты помнишь, героем какого произведения был Ляпкин-Тяпкин? — поинтересовался Сергей, утомившись ждать Юзефовича.

— Так это не настоящий человек! — потрясённо воскликнул Григорий. — А я-то думал, это художник такой был, ну, само собой разумеется, писал всякую мазню, в ус не дую, вот его и прозвали: Ляпкин-Тяпкин!

— Это Гоголь... — на глубоком выдохе проговорил Николай, слегка цокнув языком.

— Ах... Гоголь! — протянул Григорий.

— Это пьеса «Ревизор»! — добавил Сергей, почувствовав самодовольство.

Когда зрителей собралось предостаточно, на сцену вышел ведущий, объявив на американский манер:

— Встречайте, Лаврентий Антонович Мразефович!

Из-за кулис вышел старичок с безучастным лицом, какое встречается у статуэток в древнеегипетских гробницах. Он неспешно подошёл к микрофону, видимо, не до конца уверенный, что находящиеся перед ним люди живые, и, окинув стеклянным взглядом публику, начал:

— Раньше я работал учителем труда в школе... поэтому привык говорить стоя... У меня так мысль лучше работает, а то сидя... вообще... (Насколько плохо у него мысль работает сидя, если он считает, что стоя — хорошо? — задался про себя вопросом Николай) Не обессудьте. Если кому-то не нравится — милости прошу, покиньте зал, — проговорил он, рукой указав на дверь; после воцарившегося молчания, Мразефович продолжил. — Писать картины, это дело... интересное дело, прямо скажем! Казалось бы: краски, холсты, палитра... Ещё же что-то было... Впрочем, упустил. Остановимся только на этих вещах. Тут же нужно знать,

что к чему и как... Потому что, бывает... Некоторые на холсте разводят краски... Вульгарно! Невоспитанно! Это кощунство... Хотя Моне разводил краски на холсте, стоит отметить, он был импрессионист — ему всё позволено. Так вот, Мане... — уверенно заявил художник, — так мог, а другим нельзя, нужно быть лучше наших отцов... ну, вы поняли, отцов, как основателей...

Аудитория заворожённо смотрела на художника, не замечавшего её. В его виде угадывались ранние признаки деменции. Скрючившись в три погибели, Мразефович пытался бахвалиться своим талантом, за которым стояла развязная пустота.

Помолчав минут пять, он, судя по всему, собравшись с мыслями и совладав с пространством, тяжело вздохнул, жалобно посмотрев за кулисы. Чтобы не сеять подозрения в рядах аудитории, к Мразефовичу осторожно подошла молоденькая девушка с висящим на груди бейджем и что-то сказала на ухо. Художник встрепенулся, словно прозрев, и схватил микрофон так, будто это был последний жизненный оплот...

— Я был в Монголии, господа! — тшеславно воскликнул Мразефович, в надежде, что публика разразится овациями, но над залом висела гробовая тишина. — Я был в Монголии! — повторил нервно художник, особо выделив «я». — Там я общался с местными жителями, — продолжил он, всем своим видом показывая, что разочаровался в аудитории и не хочет более иметь с ней дело, рассуждая как бы наедине с собой. — Как хорошо, что я посетил эту страну. Вы не представляете, как были рады местные жители, увидев меня. Они никогда в жизни не встречались с таким... с таким высоким искусством! Я им буквально на пальцах объяснял элементарные вещи. Вот, казалось бы — темпера... каждый из нас знает, что это такое! А мне понадобилось два часа, чтобы объяснить им, что имеются в виду водяные краски, а не термометр, температура, темп и иже с ними! Удивительная, конечно, страна... Когда я там был — светило солнце. Монголы говорили мне, что до этого месяц лил дождь, а с моим приездом... Да, — резко произнёс он, словно испугавшись кого-то из сидящих перед ним, — дожди во время моей командировки были страшными, поэтому я вынужден был работать, не выходя из хижины... Нет, всё-таки, это была лачуга, а не хижина... Вам не понять подобных различий, а во мне они отзываются зубной болью! — кое-как завершил он мысль, порадовавшись, что придумал афоризм. — Я сделал некоторые зарисовки Монголии, точнее, её жителей. Безусловно, сама Монголия там представлена; мне посчастливилось дни напролёт рисовать на природе, — погода нам благоволила! — воскликнул он, окончательно запутавшись. — Боже, Монгольское солнце, солнце, гревшее Чингисхана, хана Батыя, хана Узбека...

Тут к Мразефовичу подбежала заалевшая девушка, которая, что-то доверительно сказав ему на ухо, скрылась за кулисами.

— Тут вот ко мне подходила девушка... — будто оправдываясь, обратил внимание слушателей он. — Это не моя внебрачная дочь, поэтому журналисты могут не утруждать себя, — обратился Мразефович к молодому человеку, что-то старательно записывающему в блокнот. — Вообще, у меня нет детей... Мой ребёнок — искусство. Ах, девушка, так вот... Она уведомила меня, что всё готово. Это здорово! Итак, сейчас мой помощник представит вам некоторые картины, которые вы не могли видеть в выставочных залах, потому что они предназначены для аукционов!

На сцену вышел молодой человек в костюме, поставил массивный мольберт и ушёл за кулисы, возвратившись оттуда с холстами в руках.

— Итак, Гена, — обратился Мразефович к нему, — клади первую картину!

На ней был изображён Мразефович, стоявший в окружении монголов. Естественно, как и полагается, автор был на переднем плане, а местные жители на заднем; художник возвышался над находящимися возле него людьми, чем-то напоминая Гулливера в стране лилипутов.

— Кажется, — комментировал Мразефович, — этакое первобытное племя, грубое и невежественное, но и у них есть видение прекрасного. Поверьте, это уж в ком что есть! Какие

монгольские женщины! — сладострастно заметил он. — Я бы назвал их... кудесницами! И формы, и осанка, и стать... Они целыми днями любовались моими картинами. Русские женщины, однако, тоже ничего... Открою вам секрет: готовясь к этой выставке я сравнивал достоинства и недостатки русского и монгольского народов, придя к выводу, что и там, и там есть выдающиеся личности... но... что касается художников... — преднамеренно замолчал он, вглядываясь в лица слушателей. — Я! — воскликнул Мразефович, победно махнув рукой. — Конечно, — продолжал он более спокойно, — монголы делали вид, что понимают мои картины, но они не осознавали моего академизма, они ассоциировали изображённых мной людей со своими родственниками и знакомыми, а не как, по моей задумке, с древнегреческими богами! Только дилетант будет рисовать монголов — монголами, профессионал же непременно выудит у них древнегреческую сердцевину! Так... Гена, — проговорил Мразефович серьёзно, тяжело выдохнув, — поставь следующую картину.

Гена молча выполнил приказ. Пока он ставил картину, художник пояснял:

— Кстати, сейчас я работаю над портретом Гены. Казалось бы: я, маститый живописец, решил изобразить своего подчинённого, у которого на губах ещё молоко не обсохло; но я вспоминаю Роймен Брукс... Это талантливая французская художница, почившая лет двадцать назад... Я познакомился с ней в 50-х годах, тогда ей было около восьмидесяти лет... К тому времени она страдала паранойей, не выходя из своей затемнённой квартиры; но мне, её страстному поклоннику, всё-таки удалось выловить её, когда она спускалась по лестнице. Помню, она испугалась меня, вскрикнув, и пустилась со всех ног взбираться по ступенькам — делать было нечего, я бросился за ней. В конечном счёте погоня эта не увенчалась успехом: достигнув нужной лестничной площадки, она, подбежав к своей двери, открыла её, моментально захлопнув... Да... вот такая история, — проговорил Мразефович, отдавшись ностальгии. — Она рисовала... как бы так выразиться... своих приближённых девушек и снискала на этом мировую славу. Поэтому художнику, бывает, полезно изображать примитивных людишек. Но, — проговорил художник, взглянув на стоящий на мольберте новый холст, — продолжим!

Николай сидел, изнывая от омерзения, и искоса поглядывал на Сергея, пытавшегося уловить в речи Мразефовича что-то приятное, доброе, и ему было искренне жаль и его, и себя, и Григория, находящихся здесь вместо того, чтобы пребывать в уютных квартирах, занимаясь довершением эскизов.

— Посмотрите, какая... какая это прелесть! — разразился восхищением Мразефович. — Быть может, это лучшая моя картина... Взгляните, какое у юноши сосредоточенное лицо, как он серьёзно сощурил глаза и сжал кулаки, как он ответственно относится к процессу... — последнее слово Николай не расслышал, зажмурившись от брезгливости. — И делает он это не в специально отведённом месте, — восторженно декламировал Мразефович, — а прямо здесь: на природе, среди животных и деревьев. Этот юноша позировал мне пять дней... Вы не представляете, какое это счастье упиваться естеством, видеть, как блаженная улыбка озаряет его лицо после облегчения: он весь светится от удовольствия, он не может прийти в себя и поверить в это чудо! А следующая работа...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.